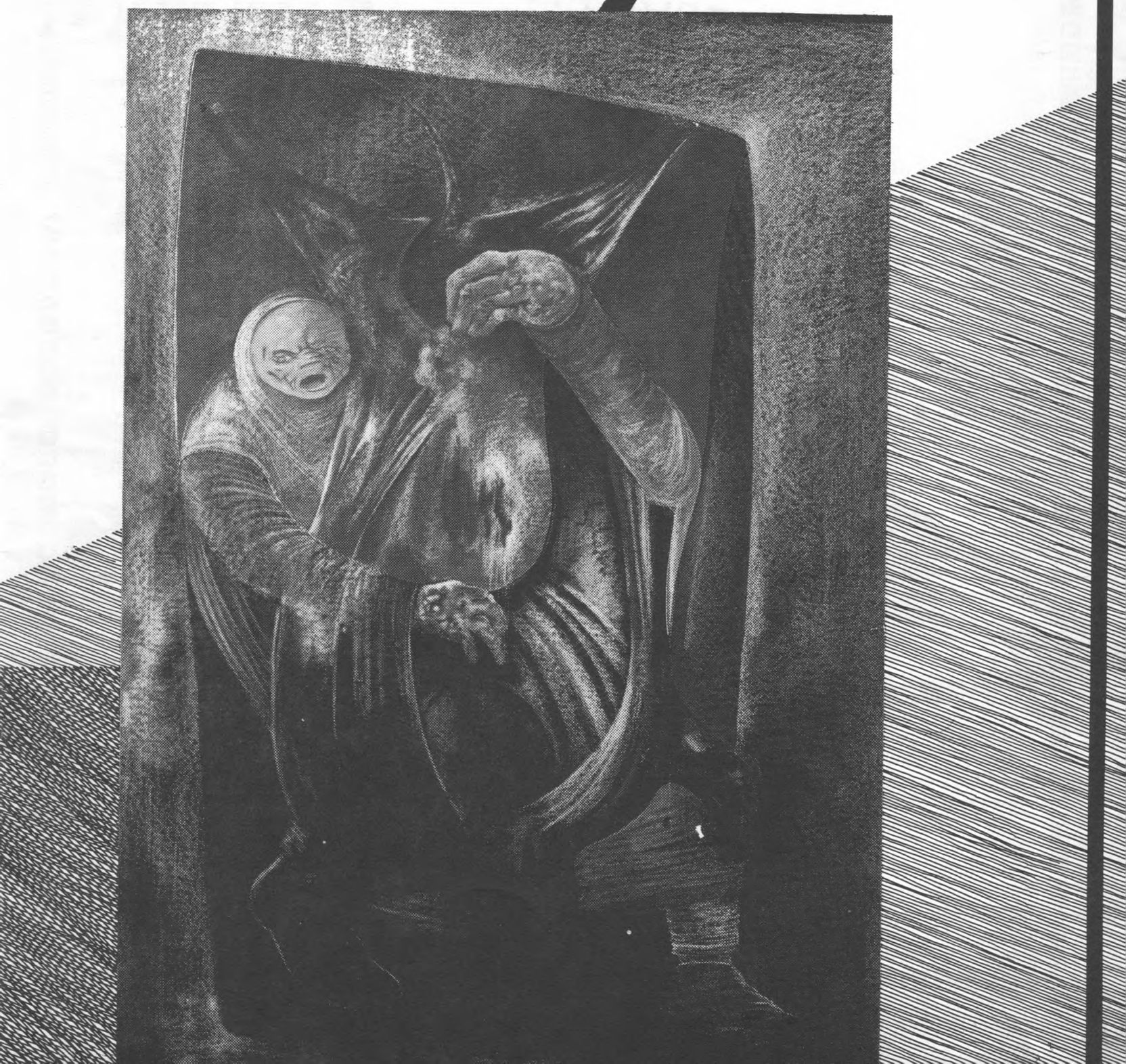
Стрелец

5

май 1987

«Стрелец» — ежемесячник литературы, искусства и общественно-политической мысли

$3.50



Издательство «Третья волна» предлагает новую книгу

Владимир Максимов

ЗАГЛЯНУТЬ В БЕЗДНУ



1986

роман

Цена $ 18.

Заказы и чеки направляйте по адресу:
Alexander Glezer
286 Barrow Strett
Jersey City, N.J. 07302

5 четвертый год издания

май 1987

СТРЕЛЕЦ

4 ВАСИЛИЙ АГАФОНОВ — ПУШКОВ И ПЕТУШКОВ. РАССКАЗ
6 ГЕНРИХ САПГИР — «ПИТУТЕЛИ ПРИЕХАЛИ В КОЛДОБ...» СТИХИ
8 ЮРИЙ МАМЛЕЕВ — ШАТУНЫ. РОМАН. ПРОДОЛЖЕНИЕ
16 МАРИНА ТЕМКИНА — ИЗ ПЕСЕН САПФО. СТИХИ
18 АЛЕКСАНДР ХАХУЛИН — ГЕНЕРАЛ ГВОЗДЕВСКИЙ. ИЗ ЦИКЛА «НЕВЫДУМАННЫЕ РАССКАЗЫ»
20 ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ — ЛЕТОПИСЬ РУССКОЙ СВЯТОСТИ
21 ЖАК КАТТО — ШАТУНЫ
23 МИХАИЛ ГЕЛЛЕР И ВЛАДИМИР МАКСИМОВ — БЕСЕДЫ О СОВРЕМЕННЫХ РУССКИХ ПИСАТЕЛЯХ. ВАЛЕНТИН РАСПУТИН
26 АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ — ВОЛЬНИЦА. РАССКАЗ
31 КН. М.К.ТЕНИШЕВА — СМУТНОЕ ВРЕМЯ. ИЗ КНИГИ ВОСПОМИНАНИЙ
38 ВЛАДИМИР МЕЛАМЕДОВ — НЕУКЛЮЖИЕ АНГЕЛЫ. ЭССЕ
46 МИХАИЛ ШЕМЯКИН — ЧРЕВО ПАРИЖА

СТРЕЛЕЦ

Директор
МАРИ КОШЕН

Главный редактор
АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕР

Художественный редактор
ВИТАЛИЙ ДЛУГИЙ

СТРЕЛЕЦ

Фото:
АРТУР ВЕРНЕР
НАТАЛЬЯ ШАРЫМОВА

СТРЕЛЕЦ

PUBLISHERS: Third Wave Publishing house, a project of (C.A.S.E.) the Committee for the Absorption of Soviet Emigrees, 80 Grand Street
Jersey City, New Jersey 07302
Arthur Abba GOLDBERG, Chairman.

Адрес редакции в США:

ALEXANDER GLEZER
286 Barrow St., Jersey City, NJ 07302
U.S.A.

Адрес редакции во Франции
Alexandre Glezer
Chateau du Moulin de Senlis
91230 Montgeron
France

СТРЕЛЕЦ

Цена номера – $3.50 28F. 9D.M.
Годовая подписка – $36.00 336F 107 D.M.

Просьба добавлять на пересылку $1

Подписчикам журнал доставляется за счет редакции

THIS PROJECT IS DONE AS A PUBLIC SERVICE BY THE COMMITTEE FOR THE ABSORPTION OF SOVIET EMIGREES FOR RUSSIAN SPEAKING INDIVIDUALS THROUGHOUT THE WORLD INTERESTED IN THE CAUSE OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOM FOR INDIVIDUALS. FOR ADDITIONAL INFORMATION CONTACT BELLA VOLFMAN AT 80 GRAND STREET, JERSEY CITY, NEW JERSEY 07302. PHONE #201-332-7962.

© 1987 by Committee for the Absorption of Soviet Emigrees. All rights reserved

Library of Congress Catalog Card No: 84-8582 ISSN: 0747-7287

ОТ РЕДАКЦИИ

Продолжая публикацию романа Юрия Мамлеева «Шатуны», мы, как и обещали вам, помещаем в журнале отзывы западных критиков на эту своеобразную книгу. В данном номере вы можете познакомиться со статьей известного французского литературоведа, профессора Жака Катто.

Недавно в Нью-Йорке, а галерее Эдуарда Нахамкина, состоялась экспозиция Михаила Шемякина «Чрево Парижа». Чуть ли не десять лет назад одноименная выставка Шемякина прошла в Париже в галерее Жака Карпантье. Но там демонстрировалась только графика, а на нью-йоркской выставке представлены огромные холсты и пастели. Так или иначе, но ясно, что эта тема на протяжении многих лет волнует художника. Мы предлагаем вашему вниманию статью Михаила Шемякина о Чреве Парижа , о том, чем привлекал и привлекает его сей древний парижский район, который несколько лет назад был реконструирован. Как пишет Шемякин — «Париж лишился своего живота».

На первой странице обложки репродукция картины Михаила Шемякина из цикла «Чрево Парижа».

Материалы авторов, проживающих в тоталитарных странах, в том числе в СССР, печатаются без их ведома

василий агафонов

ПУШКОВ И ПЕТУШКОВ

рассказ



ВАНЯ ПУШКОВ ПРИПОДНЯЛ ТЯЖЕЛЫЕ ВЕКИ И ОБНАРУЖИЛ, ЧТО ЛЕЖИТ НА ДИВАНЕ. В ТОЩИЙ БОК ЕГО И ДОВОЛЬНО ЧУВСТВИТЕЛЬНО УПИРАЛАСЬ РАЗБОЛТАННАЯ ПРУЖИНА, САТИНОВЫЕ ТРУСЫ ВОВСЕ НЕ ЗАЩИЩАЛИ ОТ ХОЛОДА, ТРУБИВШЕГО ЧЕРЕЗ РУКАВ СТАРОГО ПАЛЬТО. ПУШКОВ ПОПРОБОВАЛ СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА ТОМ, ЧТО ЕГО РАЗБУДИЛО И ПОНЯЛ, ЧТО НЕ МИНОВАТЬ ВЫЛЕЗАТЬ. ЭТО ЕМУ ОЧЕНЬ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ, ИДТИ ПРИХОДИЛОСЬ НА ОГОРОД, ГДЕ СИРОТЛИВО СКРИПЯ ШАТКОЙ ДВЕРЬЮ, ТОРЧАЛА ОТХОЖАЯ БУДКА.

— Так это значит у Клавки мы, — соображал он, теребя рыжую щетину. А где же Николаша?

Но и тут затруднений не предвиделось. В соседнем закутке приметил он корявые штиблеты приятеля, завалившиеся к женским полусапожкам.

Вчера допивали старую халтуру. Совхоз «Светлый Путь» лет семь тому назад заказал им юбилейное панно «Хрущев в кукурузе». Иван взялся за Никиту, румяным поросенком бродившем в кукурузном лесу, а Николаша отделал трех ударниц в жестяных черных пиджаках, занавесивших полгоризонта. Совхоз не хотел брать картину.

— У нас договорчик, — сипел Николаша Петушков, накатываясь круглым брюхом на правление.

— Рази такая кукуруза бывает? — хмурился бригадир Зубов, косясь на художников. — Прям лес мачтовый.

— А позвольте вас спросить, что вы в нашем деле разумеете? Вы знаете такое слово — воображение? Во всякой картине должно быть усиление главного элемента. Гиперболизация.

— Ты давай не ругайся, — возражал Зубов.

— Волосья отрастили, — поддержал Зубова бухгалтер Сенькин, — а мы за волосья не плотим.

Так и не заплатили. И вдруг, через столько лет вызывают на почту и вручают толстую пачку десяток.

— Н-ну, Коля, жи-живем. — Заикаясь обрадовался Пушков. Он кутался в долгое ратиновое пальто, единственную вещь, которая уже несколько лет до конца не пропивалась.

— Колбасы купить, — беспокоился Николаша, поддавая округлостью в масластый остов товарища.

Гуляли они вторую неделю и застряли у Клавдии Ильиничны Оческиной, старинной приятельницы Петушкова.

— Ты, Ванька, не гляди на рожу, — улыбался Николаша, прикусывая толстые губы, — зато товару...

Иван сбросил пальто, сунул худые ноги в галоши и зашагал на огород. Поселок жил энергичной трудовой жизнью. У пивного ларька, зарыв сапоги в рыжую грязь, скучали мужики. Пива не было. Далеко в поле колотился трактор, ворча и пуская клубы сизого дыма. Приятный женский голос объявил:

— Передаем полонез Огинского.

Пушков открыл рот, натянул трусы и опрометью бросился к дому.

— К-К-Коля, вставай ппполодиннддцатого уже, ссс-сейчас по радио объявили.

— Ты чего, Иван, ни свет ни заря людей тревожишь? — завозился толстыми пятками Николаша.

— Дда какая ззаря, полодиннадцатого, в ммагазин ббежать надо.

Осень прошла бедно и неуютно. Сизые тучи заложили небо и как вялый насморк сочился дождь. Кредиторы грозились набить морду, Пушков с Петушковым не высовывались из дому. Они слонялись по ветхим комнатам, пили чай с брусничным листом и вздыхали.

— Вссреду в городе ннаша ссекция монумт-монумттапистов ссобирается. Мможет ддадут ккакую нть ра-работу. Введь это ппрямо что же, нне жжизнь. — И Иван глядел в слякотную темень, прилипшую к грязным окнам.

— Как же, дадут! Забыл чего прошлым разом выложили? — Петушков намекал на большую мозаику в клубе «25 октября», где Ленин в буденновке с шашкой скакал на пожилой

белой кобыле. Иван отвечал за голову и оправдывался:

— Ппонимаешь, с детства ддолдонят Лленин, Лленин. Нну уже и лепишь автоматом. Дда и чего, у-уссы ттолько пприссобачить.

В окно крепко постучали. Николаша, расплюснув нос, воззрился на пасмурные хляби. За окном стоял Хряков, главный кредитор, высокий дядя с серым пухлым лицом. Обычно хмурая рожа Хрякова раздиралась самою лучистой улыбкой. Петушков насторожился. Хряков значительно кивал головой, прижимал руки к сердцу, радостно тыкал в дверь и с укором глядел в подозрительные ледяшки Петушкова. Хряков увидел Ивана и закивал еще более радостно. Рот его широко разевался, но за шумом дождя понять его было нельзя.

— Ддавай впустим, мможет знает чего. Все оодно ввзять ненечего.

А если агрессивничать будет? Видал, какие у него лапы, красные клешнястые?

— Да ччего, я вот пполено возьму. Ввпускай.

Николаша бочком просеменил к двери, покачал головой и щелкнул задвижкой.

— Вы чего же, братья-славяне, совсем меня вымочили, — запищал Хряков, его огромный черный ботинок как диковинный жук плывунец засунулся в дверь, — а ведь должны до потолка прыгать.

— Чего это нам прыгать, — возразил Николаша, подозрительно глядя в живот Хрякову.

— Фу, устал, — Хряков зацепил табурет, с его модного светлого пальто текла бурая влага. — Вот что, славяне, должок помните? — «Славяне» угрюмо переглянулись. — Да́ нет, нет, ничего. Терпит должок, — успокоил Хряков, машинально оглаживая пухлые щеки.

— Ну, не тяни резину, идол мордатый, — волновался Николаша, сцепив ручки и напряженно вертя большими пальцами.

— Тты что, ннашел нам работу? — догадался Иван, поддергивая короткие мытые шаровары с «начесом».

— У вас ведь секция в среду, так? — прищурился Хряков.

— Ну?

— Замечайте, славяне, я вам первый новостишку принес, мне первому и должок возвернете.

— Конечно, конечно, — закивал Николаша, усевшись на табурет и качая полными ножками.

— На секции, — запищал Хряков, — вам дадут работенку. Да какую! — он в возбуждении вскочил с табурета, под который натекла порядочная лужа. В Ярославле панно́ выкладывать. Сорок квадратных метров.

Николаша быстро прикинул в уме. 20 тысяч.

— Ааа! — он обалдело глянул на Хрякова. — Не врешь?

— Славяне, я вам когда-нибудь туфту гнал? — Тут он строго оглядел притихших монументалистов. — Однако поизносились вы, поистрепались. Денег я вам конечно не дам, но завтра подошлю кое-что.

Утром Иван нехотя плескал холодную воду в деревянные скулы.

— Петушковы тут проживаются? — неожиданно заорали под дверью.

— Не шуми, любезный, — возразил Николаша.

Иван, выглянув в коридор, увидел рослого парня с охапкой пакетов и свертков. Петушков, заложив ручки в карманы необъятных шаровар, значительно покачивался с мысков на пятки, в упор разглядывая дюжую фигуру в сапогах.

— Вот, до вас прислали, — высыпав пакеты на пол сообщила фигура. — Ну, я пошел значит.

Все было в пору, и костюмы, и рубашки, а в громадном желтом портфеле свиной кожи лежала записка:

«Братья славяне, помните Хрякова.
Двадцать кусков и все одинаковы.

P.S. Великодушно после сочтемся».

Отзвенела морозами долгая зима, надулись и заспешили мутные ручьи, разом лопнули почки и на голубых ветрах заплескались весенние облачка.

На пристани шевелилась толпа. Черное натужное тело ее свивалось и развивалось вокруг неподвижно стоявшего Хрякова. Он строго глядел в даль пустынных волжских берегов.

— А ну, тихо, — объявил Хряков, уверенно обрывая суточный шум.

— Как там, видать чего, Виктор Потапыч?

— Корабль на горизонте, — зазвенел Хряков, — Бутылкины, готовь хоругвь.

Два человека в сбитых сапогах и масляных кепках завертели палки. Ветер полоскал кумачом, на котором, вкривь и вкось налаженное, сидело трогательное признание: «Дорогие Коля и Ваня, Нижние Котлы гордятся вами.»

— А странно чтой-то. Гли как идет: туды сюды, туды сюды.

— Дура, пороги обходит.

— Какие пороги, их Пахомов давно свел.

Видавший виды «Валерий Чкалов», жидко дымя широкой трубой приближался как-то неуверенно и спотыкливо. Он неожиданно бросался вперед и вдруг заваливался боком под ветер, который отрывал косицы черного дыма. Покивав неустойчиво сивым волнам, он опять бросался вперед пока наконец не грянул ржавой скулой в застонавший осевшими сваями причал. Какие-то люди плясали на палубе. Вдруг из салона выкатилось десяток человек. Впереди, бессмысленно улыбаясь, выступали два матроса. На булыжных плечах их и очень смирно сидел Николай Петрович Петушков, прижимая к круглому животику желтый портфель. За ним несли Ваню Пушкова. Он был в неизменном пальто и малиновых штиблетах. Серое лицо его торжественно застыло. Сгрузив Николашу и Ивана, команда отхлынула назад. Хряков выступил вперед и положил руку на портфель. Николаша его не удерживал. Заглянув в портфель, Хряков швырнул его на причал и равномерно тряся Николашу визгливо стал причитать:

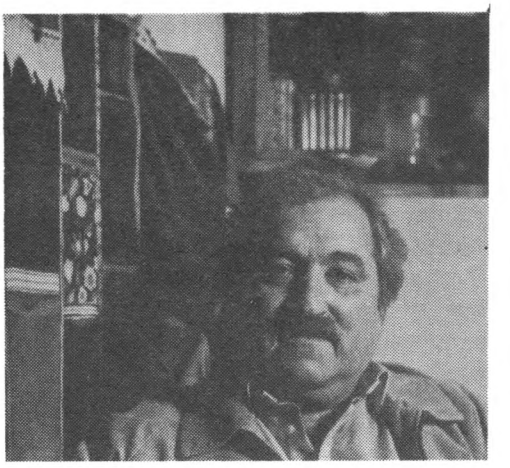
— Где деньги, где мои деньги?

— Да какие ж деньги, — проворчал кто-то из толпы, — почитай от самого Ярославля пьем. Весь пароход вмертвую уложили. Не знаешь как и доехали. Одного коньяку сколько ящиков выжрали.

— Да ты-то как в трезвые произошел? — рассмеялись на пристани.

— Как, как. Я у бочки с огурцами лежал. Рассолом спасся.

генрих сапгир



«питутели приехали в колдоб...»

* * *

В мурелки шлепают пельсиски
В стакелках светится мычай
Народострах и чуд российский

Жить отдыхать и врать и верить
Разбить стакелку невзначай
и правду выдумкой поверить

Сижу качуриком в отставке
с майороглазым старшиной
Дожали — снова по одной
Хрегочут глотки в переплавке

А на дуроге — дымовозы
и мразогрязь... божба, угрозы —
живьем корчуют и мостят

Сквозит на взлобье — исинь — ветошь
И любят так, что не поверишь —
как бы насилуют и мстят

* * *

Питиунда — охрамина сосен
Ножницами этот полухрамий —
и железные листья мандаринов
и картонные листья магнолий
и кора-дерюга эвкалиптов —
вырезан из крепкой старой сути —
из ДАРУНВАРУНМАРАКИПРЕНЫ

* * *

Одноэтажный дом с высокими
белыми окнами помню как дум
с белыми окнами помню как дым
одноэтажный с высокими белыми помню как ветер и помню как шум



* * *

Питутели приехали в колдоб
Подумал предприятель: «Ах ты чтоб!..
Задача: отстающим вымыть клуб

Лысняк, грустняк и белоклочковатый
полустарух по-модному одетый
глядят: полукоттеджи-полухаты

Скружаются к бибобусу фигуры
у дверцы — озабыченный, который
не в складь — не в мать заводит разговоры

Лысняк ему лопаточкою: — брысьте! —
Полустарух собрал себя на части
Винтарь, щепу и тракты смотрят гости

Куровники муровники — охмурь
А багграном со сцены верь не верь:
— Весь ураган доложим без потерь!

Потом читали, подыхая мух
места — отдельно — выжимая смех
лысняк и молодой полустарух

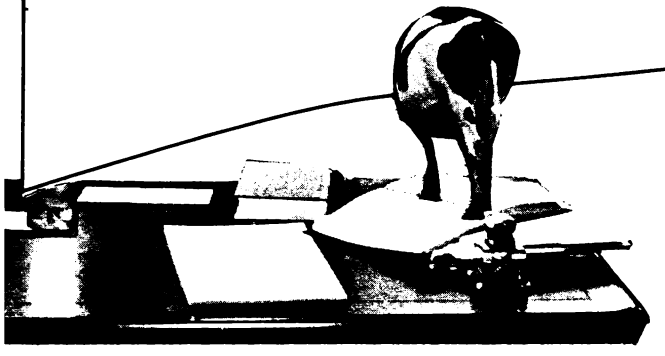
Теперь — грустняк! Он честный и очкастый
Он с отвращеньем в рифму мыслит часто:
за час — пятнадцать, а за двадцать — триста

Давай, Брусняк, дави их эрудитом
в мощь децибелл! И каждого при этом
всенепременно сделай патриотом

Зови, Песнюк, чтоб каждый первокурсник
неруха знал: гудит престольный праздник
колдобник чтоб задумался об жизни...

Не галочкой, а козырем прошел
— Ну прощевайте — женщины как шелк
— Питутели, питуйте хорошо!

Клуб опустел. Известка — голяком
Осталась память хухом — чесноком
И предприятель — быдто незнаком



* * *

Киоск курорга: старый добрый пластик
На выбор — сумки, рюмки, жустик, хрястик
— Вам нужен блист? Здесь есть чудесный блистик

Народ глядит. Внутри ряды резин
и никчемушек полный гамазин
Набычил глаз небритый баргузин

Тигрессы, вепри, бракадабра на —
рисованы на майках и штана —
Хватают всё. Такие времена

Нет вас не удручает нет! что это —
сплошной обман нарпитом карапета
вампука, кривошейная работа

Возьмите в руки эту пару, браты,
смотрите: не услады, а усраты —
распороты и бруфли оборваты

Вы сами — два солдутика в наборе —
в ничьей культуре, в выдернутом мире
И что за игры там — на верхотуре!

юрий мамлеев



РОМАН В 2-Х ЧАСТЯХ

ШАТУНЫ

XIII

Вечером Алексей пришел к Анне в комнату чуть не со слезами.

В той среде, к которой принадлежала Анна, жизнь и метафизика означали одно и то же; жить значило пропитать своим потусторонним видимую жизнь; поэтому любовь здесь не раз сливалась с признанием внутреннего мира и последнее не было простой добавкой к любви, молчаливым соглашением.

Алеша не принадлежал полностью к этой среде; он тянулся к ней и одновременно страшился ее; но он был влюблен — долго и безответно — в Анну, влюблен частью из-за ее загадочности и принадлежности к этой темной, иррациональной среде.

Сегодня, кроме того, он хотел доказать в лице Анны всем этим странным, взявшим на себя слишком многое, людям, что твердая вера в Бога по-прежнему является единственной крепостью человека посреди всего этого метафизического хаоса, среди этого листопада смертей, нелепых машин и вывернутых мозгов.

Этим он хотел и укрепить свою веру и поднять себя в глазах Анны. В конце концов больше любви ему важно было признание. Признание своей ценности.

Поэтому, к тому же взвинченный идиотским превращением отца в курицу, он сразу же начал с Бога, с необходимости веры в Него и даже с целесообразности.

Анна, погладив себя по оголенной ножке, отвечала на этот раз резко и даже озлобленно. Ее ноздри чуть раздулись, а глаза блестели от охватившего ее чувства самобытия и сопротивления — сопротивления этим идеям.

Она говорила о том, почему ей не нравятся обычные религиозные системы: они исчерпаны и ставят предел метафизической свободе, в то время как дух уже давно вырвался в новую, неведомую сферу; более древний эстетизм притягательнее сейчас, так как он предполагает большую свободу исследований и метафизических путешествий; нужен другой способ проникновения в потустороннее...

— Наконец, обычные религии слишком односторонни, — взорвалась Анна, — в то время как в метафизике нужен сейчас радикальный переворот, вплоть до уничтожения старых понятий и появления новых — может быть еще более «абсурдных» — но тем не менее символизирующих наше состояние духа; и именно она — сама метафизика, сама религия — должна сделать этот переворот... потому что все иные, прошлые перевороты не относились к делу, так как подменяли метафизические ценности понятиями из несравнимо более низких областей, и таким образом замена была нелепа и вела только к отрицательным последствиям... Нужен таким образом подлинно религиозный катаклизм, — опять воспалилась она, — ...мир расширяется и наше метафизическое предчувствие вместе с ним; современные религии способны только сужать наше представление о мире, ибо это лишь искаженные тени некогда великих религий...

Алексей был совершенно подавлен и растерян; интеллектуально его наиболее ущемили слова о пределе метафизической свободы; эмоционально — упоминание о том, что сильные духом, мол, пускаются в неизвестное, страшное, потустороннее плаванье.

Но он все же вдруг возразил:

— Итак, вы говорите, что это искаженный путь, профанация, что ключи к истинному христианству потеряны... Почти... Даже значения слов сейчас уже не те, какие были тогда... Но что, если ключи будут снова найдены... Пусть среди немногих...

— Тогда, конечно, иное дело, — как-то спокойно ответила Анна. — Но интуитивно я чувствую, что это — не для меня. Как другие наши — не знаю... Хотя почему «нет», может быть... Относительно некоторых... Все настолько чудовищно и запутано, до невероятия...

Где-то в окне появилось ничего не выражающее лицо Милы с широко раскрытыми глазами. На что она смотрела? ...Алеша сидел в углу у печки; Анна же чуть возбужденно ходила по комнате; выл ветер... за стеной пела свои нелепые песни Клава.

— Ты целиком на стороне Падова и его друга Ремина... И этого кошмарного Извицкого... — пробормотал Алексей.

Анна пропустила его слова; закурив, она молча смотрела в окно, в котором уже исчезло отсутствующее лицо Милы.

— Ну, хорошо, — опять собрался с духом Алеша, — пусть многое закрыто для нас... Лишь малая часть всего, высшего, сказана людям, да и та плохо понята... Но Бога, Бога-

то вы куда денете?.. Я говорю сейчас не о Боге определенных религий, а о том, неведомом?!

— Бога! — произнесла Анна. — Ну что ж я могу сказать тебе о Боге.

— Нет, ты ответь, почему ты... именно ты... вне этого, а не вообще! — вскричал Алексей.

— Бог это, конечно, нечто другое — начала говорить точно сама с собой Анна, у которой на душе вдруг стало спокойно. Сбросив туфли, она калачиком устроилась на диване. Слышно было как во дворе редко, но пронзительно кричит дед Коля, обращаясь к сараю, где второй час кудахтал Андрей Никитич.

— Вообще, — продолжала Анна, — если забыть некоторые прежние атрибуты Бога, особенно такие, как милосердие, благость, и тому подобные, и поставить на их место другие, жуткие, взятые из нашей теперешней жизни, то есть из реального действия Бога, то может получиться такой Бог... с которым интересно было бы как-то встретиться на том свете... Может быть нечто грандиозное, чудовищное... Совсем иной Бог, который если и снился нашим прежним искателям истины, то только в кошмарных снах.

— Дьявол, а не Бог. Вот какой замены вы хотите, — выдавил из себя Алексей.

— Мы не хотим, а видим, — отвечала Анна. — Бог, но другой... Уже по-иному непостижимый... Цели которого полностью скрыты от человечества... Не связанный с моралью.

— Одно голое сатанинство, — с отвращением проговорил Алеша.

— Но в конце концов лучше переход от идеи Бога к дальнейшему... Лучше абсолютная трансцендентность, — добавила Анна. — Или еше более...

— Уж не Глубев ли с его тотатльным бредом в качестве новой религии?! С его религией Я?!

— Не знаю, не знаю... Мы пока ищем...

— У Глубева хоть есть его бред, — взвизгнул Алеша, — а у вас ничего нет... Кроме отчаяния!

Анна даже расхохоталась.

— А что есть у вас, современных верующих? — ответила она. — Маленький слабоумный метафизический комфорт... Пародия на золотой сон... Лаборатория для создания хорошего душевного настроения... Бессмертие ничтожеств... Да пойми ты, Алеша, — спохватилась она, не желая его обидеть. — Нам нужно право на поиск. Пусть даже перед поиском будет великое падение.

— Великое падение, в котором, разумеется, находитесь ты, Падов, Ремин и Извицкий, — прервал Алеша.

— Что ты все переходишь на личности? — произнесла Анна. — Мы же говорим об идеях... Пусть даже не мы участники этого великого падения, хотя я уверена, что мы... Пусть другие, неважно... Но за великой катастрофой взойдет новая вера... Может быть, даже Глубев — (Алеша злобно расхохотался). — Может другое... Не знаю...

— Это все падовщина, падовщина, — исступленно бормотал Алексей. — Но ответь мне наконец, ответь, что тебя, именно тебя... так отдаляет от Бога!?

— Если Бог — нечто, что вне «я», то отвечу тебе: бездонная любовь к себе... Кроме того, мне не нравится, когда на ту силу, которую ты назвал Богом, пытаются надеть белый намордник, как это делаете вы, — чуть устало ответила Анна и пересела на стул. — Потом я люблю этот таинственный, черный мир, куда мы заброшены, — проговорила она словно размышляя вслух, — а само понятие о Боге — это уже что-то данное, мешающее крайнему, отчужденному от всего человеческого, поиску в трансцендентном... Кроме того, я ощущаю мир, как игру чудовищных, отделенных, потусторонних сил... Бог — это очень скромно для моего мироощущения... Нам надо сверхтайны, свободы, даже бреда — метафизического.

— За бессмертие души-то вы все цепко держитесь, — прервал Алеша. — Дрожите за свое «я»... А Бог уже вам стал ненужен... Или превращаете Его как делает Падов, в какое-то непостижимое чудовище... Чтобы пугать им друг друга...

Но в это время дверь настежь распахнулась и в комнату кубарем влетел вырвавшийся из сарая Андрей Никитич.

— Кудах-та-тах! Кудах-тах-тах! — прокричал он, вскочив на стол и топнув ножкой.

За дверью между тем показалась темная фигура деда Коли с огромным ножом в руках. Возможно, он уже принимал Андрея Никитича за курицу.

— Папа!.. Как так можно! — вскричал Алексей.

Но Андрей Никитич, кудахнув, выпрыгнул в окно.

Тяжелый религиозный разговор таким образом очень неожиданно и своевременно разрядился.

Алеша, правда, вне себя, не заметив Колиного ножа, выскочил во двор.

Остаток вечера прошел в каких-то хлопотах.

Андрея Никитича прибрали, хотя он невыносимо молчал, напоили бромом.

Алеша должен был уезжать с поздним поездом в Москву по срочным делам, на несколько дней. Клава и Анна согласились на это время присматривать за стариком.

XIV

По вымороченным, безлюдным и с людьми улочкам местечка Лебединое бежал интеллигентного вида, но с судорожным, стремящимся от самого себя, лицом, молодой человек лет двадцати восьми. Обыватели провожали его тупым одинаковым взглядом.

А он то и дело подпрыгивал и дико вопил, поднимая руки к небу.

В небе ему виделось огромное, черное пятно, которое, как он полагал, было адекватно непознаваемому в его душе. Поэтому молодой человек так выл.

Извилистыми переулками через разбросанные помои он приближался к дому Сонновых, на ходу, мельком, всматриваясь в названия улиц.

В его кармане лежало письмо от Анны:

«Толя... приезжай сюда, ко мне... Здесь русское, кондовое, народно-дремучее мракобесие, которое я тут открыла, смешается с нашим, «интеллигентским» мистицизмом... Это будет великий синтез... Который ждали уже давно... Сюда, во тьму, подальше от наглого дыма видимости...»

Молодой человек был, конечно, знаменитый Анатолий Падов. У него было худое, с угрюмым, воспаленным взглядом, лицо; тяжесть кошмаров на нем совсем подавляла любое другое выражение; виднелась небольшая лысина; говорили, что Падов полысел от страха перед загробной жизнью.

Между тем пятно в небе преследовало его; он не мог отвести от него глаз, так странно связал он свое внутреннее

с этим пятном; он чувствовал, что это пятно — отделившаяся непознаваемость его души.

Падов остановился и присел. И вдруг расхохотался. Истерично, словно удовлетворяясь своим страхом и даже любуясь им.

Что же так выбило его из колеи?

Обычно он жил саморазрушением, нередко смешанным с безумным страхом перед загробной жизнью и потусторонним. Этот страх заставлял его выдвигать бредовые гипотезы о послесмертном существовании, одну бредовее другой. Порой казалось, что он спасался от реального страха перед смертью или неизвестным тем, что еще более разжигал этот страх в себе, разжигал до исполинских размеров, подтапливая его бредком и точно готовый сгореть в этом бреду.

Нечего и говорить о том, что ко всем религиозно-философским идеям и системам, даже казалось и самым близким ему, он относился с утробным негативизмом.

Все, что было «не-я» вызывало у него какое-то подспудное, ярое отталкивание; его тревожный, искореженный ум сторонился даже самых родных ему миров и в них находя что-то от «не-я»; но поскольку эти миры и идеи как-то входили в его «я», его безумство нередко носило характер саморазрушения; даже к своему собственному, чистому «я» он мог относиться с беспокойством, точно и оно было с подвохом или подмененное. Теперь можно представить, какое у него было отношение к миру, если даже к своему единственному, любимому «я» он мог порой относиться с истерическим негативизмом.

Таким был Анатолий Падов.

Однако ж, кроме всего этого, им иногда овладевал какой-нибудь совершенно специфический кошмарик, точно поганенький чертик вылезал из общей дьявольской стены. Так было и сейчас. Правда, его уже давно преследовала идея «вещи в себе» или той стороны мира, которая в принципе недоступна познанию; в его душе, еще в детстве, когда он впервые услышал об этом, что-то дрогнуло и надломилось. Метафизическое, овладев его воображением, всегда становилось грозным и непосредственным по силе воздействия, не менее непосредственным чем болезнь или атомный взрыв. Но пока речь шла о том, что именно внешний мир лишь явление, видимость, за которым, может быть, кроется нечто абсолютно непознаваемое, было еще терпимо, хотя Падову не раз снилась по ночам тень этого «абсолютно-непознаваемого». Но однажды, углубляясь в эту стихию, он наткнулся на поразившую его мысль, которую раньше как-то обходил: дело в том, что возможно и наше «я» — которое мы так любим — тоже одно явление, видимость, за которой скрывается абсолютно-непознаваемое, вещь в себе. И «я» всего лишь внешнее проявление этой вещи в себе. Вернее, просто «фук» и ничего больше, как говорил Собакевич.

Тут-то и началось!

Такое унижение он, как яростно влюбленный в свое «я», не в силах был перенести. Хотя в конце концов эта теория была лишь гипотезой, к тому же подверженной критике, он взвинтил себя до истерики, постепенно нагнетая эту идею на себя, и распуская ее до превращения в образ, в чудовище...

А дня за два по приезда в Лебединое, он забрел на край Москвы в грязную, с углами, пивнушку.

«То, что все иллюзорно, это хорошо, — думал он, судорожно попивая пивко и со злобой поглядывая на толстые задницы официанток и солнышко, виднеющееся в окне. — Но то что я сам иллюзия, это уже слишком... Не хочу, не хочу!.. Что же значит я поглаживаю себя и это не соответствует глубинной истине?! ...Или: за моим «я» — кроется непознаваемое «существо», которое как бы мной дирижирует?!...»

Падов подошел к стойке и попросил пива. И вдруг как только пивко полилось по горлу, он подумал о том, что это вовсе не он, а то непознаваемое «существо», невидимо и даже чинно присутствуя у него за спиной, пьет через него пиво. А он всего навсего марионетка даже в этом вульгарном, житейском положении.

От одной только этой мысли он подпрыгнул и его вырвало на стойку. Жирная, ошалевшая от мух официантка равнодушно подобрала нелепую блевотину.

Прихватив чайку, Толя присел в окна, неподалеку от завернутого в непомерно большой ватник инвалида.

Такое смешение житейского и метафизического даже насмешило его. Но идеи по-прежнему давили. «Подумаем, — осклабился он в темноту. — Правильнее было бы считать, что мое «я» лишь внешнее проявление этого непознаваемого «икс» или вещи в себе... Отсюда следует, что «я» — фактически это не «я», ибо мое «я» составляет внешнюю, так сказать, поверхность меня самого, мне неизвестного... Или иллюзию... Итак, «я» — это не «я», — Толя даже пристукнул ладошкой по столику и мелко захохотал. — Но кто же я? В том-то и дело, что я не могу познать кто я, ибо силами моего «я» я не могу проникнуть в это непознаваемое, которое как раз и есть мое «я» само по себе, в истине. Значит, я отчужден от самого себя больше чем от неба. Может даже то непознаваемое — враг моего «я»... Может, я враг самому себе...»

Дальше Падов уже не мог думать: он упивался эмоциями. На него напала стихия какого-то дикого веселья. Он ощущал свое «я» не как самостоятельное начало, а как некий шарик, подпрыгивающий на доске, которая сама по себе несется по неизвестному пространству в другой еще более неизвестный мир. Он чувствовал приближение патологического хохота...

Подошел к завернутому в ватник инвалиду, валяющемуся на полу, и вылил на него чай. Инвалид вынул свое сморщенное, в лохмотьях лицо. Тогда Падов потрепал его по морде, и, встав на четвереньки, вынул из кармана поллитра водки. Он оказался под столом, а завернутый, как гусеница, инвалид лежал рядом. «Самое главное, это — одичание», — проговорил Падов в засохшее ухо инвалида. Тот радостно улыбнулся провалившимся, черным ртом. Падов влил туда полбутылки водки. Остальное выпил сам. Инвалид, надувшись водки, опять залез в ватник, и Падов посыпал его крошками...

Все присутствующие в этой пивной были заняты своим делом: кто пил, уткнув нос в водку; кто спал; кто просто стоял в углу. Никто не обратил внимания на Падова. Одуревший от самого себя, вечерним троллейбусом он приехал к себе домой в одинокую каморку, где в углу окна висел портрет Достоевского.

Вечерний свет заливал эту узкую комнату, словно она была воскресшим гробом. Внутри, под одеялом, Падов вдруг охладился, как труп, и хрустально влюбленно посмотрел на себя в огромное, нависшее над комнатой, зеркало. Успокоенно пробормотал: «Ну не очень уж мое «я» — иллюзия... То-то — и он погрозил пальчиком в отражение. — А все-таки ужасно, если когда-нибудь мое «я» обесценится...»

И он уснул, уйдя в небытие. Эта ночь прошла спокойно. Зато следующая ночь была кошмарна. Падову опять чудилось «непознаваемое». Непознаваемое, вернее сказать гонец от непознаваемого, обычно приходил в разных оболочках, но на сей раз просто раздался сильный стук в дверь.

— Кто это?! — завопил во сне Падов.

В ответ, как бы без предупреждения, прозвучал громкий голос:

— Вы совсем не то, что о себе думаете.

— Я — человек.. вернее дух, — подумал Падов.

— Но... но, — ответил голос.

— Я — личность, — опять подумал Падов,

— Дурак, — ответил голос.

На этом все кончилось.

После таких неожиданных, нелепо врывающихся посещений, Падов пробуждался от своего подсознания в холодном поту. Призрак непонятности и обесцененности мучил его. И на сей раз он не мог долго заснуть. Рано утром в дверь постучал почтальон. Он принес как раз то знаменитое письмо от Анны, где она призывала Падова во тьму, «простонародное мракобесие». Падов — как профессорский сынок — не очень-то верил в силы народные, но повидать Анну был непрочь. «Она — родная», — знал он. Вот почему Падов оказался в Лебедином. Он пробежал по нему как некий метафизический вепрь и наконец присел, изможденный, на скамейку у разрушенной пивной. Черное пятно, которое он видел в небе, вдруг исчезло, точно спрятавшись в его душу. Падов встал и вскоре очутился перед домом Сонновых. Вверху, на дереве, раздался слюнный свист: то свистел Петенька.

XV

Аннушка встретила Падова с объятиями. Но он носился от нее, как дитя, по всей комнате. И все время хохотал. Снизу, точно в ответ раздался животно-таинственный хохот Клавы. Была уже тьма, которая смешалась с этим домом.

Аннушка зажгла свечку. Осветился верхний угол комнаты, где опять был Достоевский. Прибрала на стол: бутыль водки, ломоть черного хлеба и соль. Им не надо было начинать сначала: разговор, уходящий внутрь, точно прервался когда-то, месяц назад.

Падов, хихикая бледным лицом, начал рассказывать о своем теперешнем состоянии, все время показывая себе за спину.

— Где-то сейчас Федор, — почему-то вздохнула Аннушка.

Она была в платочке, по-народному, и это придавало ее утонченному лицу какой-то развратно-истерический вид, со стонами из-под пола.

Но по мере того как Падов рассказывал, превращая свой мир в веселие, Анна все более зажигалась его образами. Вскоре она уже смотрела на Падова как на шутку, за которой скрывается «вещь в себе». Она высказалась и Падов взвыл от восторга: «я сам хочу отнестись к самому себе как к шутке», — взвизгнул он, наливая в стакан водку.

Но по мере того как разговор углублялся, в темном пространстве как будто сдвигающихся углов, Анне все более мерещилось непознаваемое. Сначала «оно» лишь слегка исходило от Падова и он постепенно становился как черный святой, в ореоле неведомого.

И Анной уже овладевала страсть.

Она подошла к Падову и погладила его коленки: «Святой, Толенька, стал... святой», — пробормотала она с невидимо-кровавой пеной у губ.

Падов содрогался в забытьи. Его мысли, точно обесцениваясь, падали с него, как снег с волшебника.

А за мыслями — оставалось оно, непознаваемое.

Наконец, Анне, прислонившейся к стене, уже привидилось, что Падов стал совсем маленький, потому что непознаваемое, исходящее от него в виде ореола, разрослось и стало как бы огромной черной стеной, в которой копошился маленький червяк — человеко-дух.

Сердце у нее дрогнуло и ей захотелось соединиться с этим черным пятном, с этой вещью в себе.

Она ринулась ему навстречу.

Хотя визуально непознаваемое предстояло как черная стена, в которую был замурован Падов, но духовно оно предстояло как предел человеческих возможностей, как то, при приближении к чему мысли гаснут, обессиливаясь в своем полете. И туда же, за ними, за мыслями, рванулась ее кровь...

Через несколько мгновений они были в постели. И Анне стало нечеловечески-странно, когда над нею очутилась черная стена... Лицо Падова как бы барахталось в ее тьме... Вскоре все было кончено, непознаваемое, охватившее на мгновенье все ее существо, ушло куда-то, в отчужденную даль. Но им удалось сочетать грубую и узкую реальность полового акта с утонченным и грозным бытием неведомого...

На следующее утро все ушло еще глубже, точно неведомое свернулось и спряталось за обыкновенным.

Обыкновенное, правда, чуть просветленное этими внутренними смещениями, казалось как бы вывороченной наизнанку вещью в себе. Анне чудилось, что лоб Падова светится, но каким-то простым светом. Толя молча убирал на столе, двигался по комнате, мимо шкафа. Обыкновенное было еще надломлено недавним наплывом неведомого. Почти все в доме спали. Но покой Анны и Падова был нарушен стуком в дверь; дверь как бы сама собой отворилась и вошла девочка Мила. «Да она — слепая», — вскричал Падов и это были его первые слова после ночи. Мила молча, действительно, как слепая шла от двери к окну.

— Да нет, она видит. Только она не любит разговаривать, — ответила Анна, всматриваясь в лицо Милы.

И верно, более точное впечатление было такое, что Мила видела... только что она видела?!...

Ни Падов, ни Анна, конечно, не знали, что у Милы, лицо которой обычно ничего не выражало, с некоторых пор родилось странное состояние. Она видя ничего не видела. Формально, например, Мила видела предметы в Аниной комнате, но это не вызывало у нее субъективного ощущения, что она их видит, хотя ориентироваться она могла.

Поэтому Мила просто, безотносительно, села на стул и попросила чаю. Но чай она пила как воздух.

Падов и Анна, оставив ее, вышли на Сонновский двор. Там уже лежал под скамейкой пьяненький дед Коля. Личико свое он прикрыл кепкой. Уместившись рядом, за небольшим деревянным столиком, Анна посвящала Падова в тайны Сонновского дома. Особенно восхитило Падова превращение Андрея Никитича, которого он так и называл теперь: куротруп.

И вдруг из-за спины раздался благостный, чуть шальной голос Клавы:

— Присуседились, небесные... Ну как Аннуля отсосала ему яд Божий из члена... А... — и она ласково потрепала пухлой рукой Анину грудь.

«Хороша!» — мельком подумал Падов.

— А у меня водичка с собой есть... Прохладиться, — разболталась Клавуша, присаживаясь. — Вот.

И она поставила на стол ведро воды.

«Хороша!», — еще с большим восхищением подумал Падов.

В это время из сарая донеслись звуки хлюпкого падения тела. Это курицей выскочил Андрей Никитич; только выскочил чересчур мертвенно, как все равно курица, стремящаяся на тот свет.

Отряхнувшись, он «пошел» к собеседникам. Все ждали его с умилением; но Клавушка только теперь, когда он стал курицей, почему-то напротив считала его человеком.

Надо сказать, что два дня назад Андрей Никитич стал уже разговаривать, но как-то односложно. Страшно измененный даже внешне, теперь после нескольких дней новой жизни, он скорее уже напоминал не живую курицу, а мертвую. И теперь, в своих односложных выражениях, он уже так не упирал на то, что он — курица, а выражал мнение, что он просто мертв.

Когда куро-труп подошел к столику, Падов обнял его и поцеловал. Сели за стол. Каждый выпил из ведра водицы.

— Скажите, Андрей Никитич, — обратился к нему Падов. — Говорят, вы раньше были очень религиозный человек? Я читал ваши рукописные книжки о Господе.

Куро-труп с изумлением посмотрел на Падова, Подскочил и мертвенно-желтым, как у повешенной курицы, лицом, клюнул его в щеку.

— Его смотрели психиатры? — спросил Падов.

— Напрасно Алеша время тратил, — усмехнулась Анна. — Перед твоим приездом наехал их тут целый табор. И знаешь, психику признали нормальной, только чуть суженной. Просто у Андрея Никитича, дескать, снизился интеллект... Да неужели ты не видишь, Толя, что психиатрия тут не причем. По-моему, он явно превратился в другое существо, совершенно другое, нечеловеческое.

— А психиатров-то надо было вызывать, когда Андрей Никитич в Господа верили, — похабно вмешалась Клавуша. — А не сейчас.

— Я просто мертв, — вдруг ответил Андрей Никитич на обыкновенном человеческом языке.

Все замолчали, а у Анны даже выступили слезы на глазах.

— Я и сам так думал, что психиатрия тут не при чем, — вскричал, прервав молчание, Падов. — Андрей Никитич, вы говорите, что вы мертвы, вы это говорите, значит вы живы.

Падов подошел и холодно заглянул Андрею Никитичу в его тусклые, как у кур, глаза.

— Вы живы, но особой, мертвой жизнью! Понятно?! — продолжал он. — Вы помните, как жили раньше, как верили в Бога?

В глазах Андрея Никитича вдруг на мгновенье блеснула искра какого-то чудовищного, нечеловеческого сознания.

— Пустяки все это было, — сказал он.

Искра вдруг пропала и лицо опять приняло куриное выражение. Падов застыл, пораженный этой искрой.

— А ты знаешь что?! — обратился он к Анне. — То что он стал курицей, это возможно переходный этап... уже сейчас в нем рождается какое-то новое сознание, но только мертвое... Мертвое по отношению к человеческому и в том смысле что какое-то подземное.

— Ко, ко, ко! — прервал куро-труп, вскочив на стол и опрокинув ведро с водой.

— Он совершенно нормален, — сказала Клавуша, обнежив Анин зад.

— А насчет мертвого сознания, поживем — увидим, — добавила Аня.

— Вот то-то поживем — увидим, — сочно обрадовалась Клавуша. — А не хотите сейчас баиньки? Прям с утра? Я в саду, в палисаднике, уже давно три ямы вырыла. И травушки туда наложила. Все равно как травяные могилки. Я там уже два раза спала.

Падов расхохотался, глядя на Анну: «скажите, синтез-то какой!». И все втроем действительно пошли в травяные могилки. Мимо них промелькнула тень Милы.

«Как жаль, что нет Федора», — подумала Анна.

— А что говорил до своего превращения Андрей Никитич про обитателей этого дома. — спросил Падов у Клавы, когда все улеглись в ямы. Могилки стояли рядом, как бы замуровывая в себе, но голова Падова чуть возвышалась над землею, для разговору.

Из-под земли донесся Клавин голос, причем почему-то с похабными интонациями:

— Да кажись злыми всех нас считал.

Падов рассмеялся.

— Да ведь мы не злые, мы просто потусторонние, — сказал он и спрятал головку в травяную могилу.

А к вечеру во всем дворе Сонновых—Фомичевых уже царило веселие. Мила, ничего не видя, забралась на дерево. Петенька с остервеневшим от самого себя лицом скребся под ним. Похмельный дед Коля, еле держась на ногах, искал по всему двору могилку доченьки Лидиньки, хотя она была захоронена на отшибе Лебединого.

Первой из травяной могилы вылезла Клавуша.

Мысленно онелепив окружающее, так что нелепость всего была возведена в квадрат, Клавуша побрела устраивать еду...

А Падова недаром называли «любимчик загробного мира»; в травяной могилке он надумал такое про будущую жизнь, что не решался сказать об этом даже Анне. С побледневшим лицом он вылез из-под земли. Вообще метафизические кошмары часто сменялись в его душе, вереницей, один чудовищней другого. Возможно, что сыграла роль перемена ситуации...

Анна еще лежала в могилке, любуясь на себя в зеркальце. В то же время она искала непознаваемое в самой себе.

К тому же Анну преследовала мысль о прошедшей ночи: о соединении с Падовым и вещью в себе. До этого, периодами, она жила с Падовым, но с вещью в себе — никогда. И даже физическое удовлетворение от этой ночи казалось ей жутким и лежащим по ту сторону обычного... Она даже не могла понять удовлетворена ли она или просто спокойна — спокойна холодом неизвестного. «Ты у нас метафизическая куртизанка», — говорил ей нередко Падов.

Ужинали опять во дворе, за привычным столиком. Андрея Никитича никак нельзя было усадить за стол: он курлыкал и дулся. Наконец, Клава, умилившись, высыпала ему на травку гречневую кашу и Андрей Никитич, встав на четвереньки, с удовольствием поклевал ее. Дед Коля, ранее охотившийся за Андреем Никитичем с ножом, имел теперь

с ним особые интимные отношения. Он подал ему замысловатый знак на пальцах и куро-труп вдруг робко присел на скамейку, за стол. Вскоре дед Коля, вскочив, ускакал куда-то за Петенькой, но Андрей Никитич по-прежнему сидел. Уловив его какой-то, вроде бы осмысленный с человеческой точки зрения, взгляд, Падов спросил:

— Андрей Никитич, что же все-таки с вами, объяснитесь, ради Бога... Может быть нас всех ждет такая участь. Что с вами?

— У меня отнялись мысли, — вдруг ответил Андрей Никитич.

— Как отнялись?! Значит, вы ни о чем не думаете?

— Ни о чем.

Куро-труп покачал головой и опять замолк, как самая настоящая курица. Было такое впечатление, что сказал он это мельком, самым последним, еще сохранившимся атомом человеческого сознания.

— Надо бы его как-нибудь расшевелить, — сказала Клава, сжимая свои вкусненькие пальчики. — Аннуля, вы никогда не спали с домашнею птицею? ...Попробуйте-ка его соблазнить!

Падов хихикнул. Клавуша вдруг оживилась.

— Надо бы выпить, ребята, — сказала она, глядя в дерево. — Пойдемте в комнату, там лучше...

Все встали. Падов вел Андрея Никитича за руку и бормотал:

— Он совсем не контактен. Но мы проникнем в него.

В комнате, куда Клава провела друзей, было вымороченно-уютно; в углу у пухлой постели темнели странные изображения.

Откуда ни возьмись, появился гусенок. Это Клавуша внесла его, прижимая к полной груди. Потом, подхватив его, вдруг юркнула в смежный маленький чуланчик, дверь в который приютилась между углом и пузатым шкафом. Куро-труп, прыгнув, вскочил с ногами на постель, безразлично хохотнув.

Аня с Падовым налили себе немного водки. Кровавый закат смотрел им в окна.

— Клавуша-то наслаждается, — подмигнула Анна Падову. — Вот только как, никто не знает...

Но душа Анны по-прежнему была занята непознаваемым; и даже лицо Падова было как сюрреальное окно в непознаваемый мир. Но внешне Анна была здесь.

Минут через десять появилась раскрасневшаяся Клавуша. В ее руках был гусенок, который ворочался.

— К такой встрече, — взглянув на Падова, сказала она, — надо и закуску подходящую. Я мигом этого гусенка зарежу и самым быстрым способом приготовлю.

Чуть пьяненький Падов одобрительно похлопал ее по бедру. Клавуша исчезла в темноте коридора.

Падов, совершенно истощенный искренностью и жутью своей внутренней жизни, внешне вел себя истерически и по-юродивому.

Сейчас он пристал к Анне с просьбой хоть в какой-то степени соблазнить куро-трупа.

— Может тогда встанет из гроба-то своего. Эдакое воскресение из мертвых, — хихикал Падов.

Анна, чуть опьяненная и ушедшая в свои мысли о неведомом, вдруг, как сомнамбула, стала действовать.

Она присела на кровать, рядом с куро-трупом, и поглаживая ему руки, глядя в лицо, начала, больше глазами, говорить про любовь, про нежность.

Но Андрей Никитич совсем не реагировал; потом даже начал брыкаться и пускать слюну.

— Безнадежно, — пробормотал Падов.

Но вдруг, то ли после того, как Анна сделала какое-то движение, то ли еще почему, тусклые глаза Андрея Никитича засветились. «Ого!» — проговорил Падов. Однако, самое странное, глаза куро-трупа засветились вовсе не на Анну; он явно смотрел за ее спину, в какое-то пространство. Тело его было неподвижно, а глаза светились все больше и больше, каким-то тусклым, мертвенным интересом. Он все время глядел в пустоту, как будто чего-то там видел. Более того, Анне показалось, что в его глазах выражен яростный сексуальный интерес к этой пустоте.

Инстинктивно Падов прижался к Анне. Что-то вдруг переключилось и Анна, встав и прильнув к Падову, стала тихо танцевать с ним словно они были одни в этой комнате, напоенной субстанциональным безумием.

Иногда они бросали взгляд на куро-трупа. Но Андрей Никитич не был разбужен.

Он приподнялся и с прежним выражением мертвенного интереса в тусклых глазах пошел неизвестно куда. Что-то в нем происходило и Анне вдруг провиделось или почудилось?! что это «что-то» есть адекватная компенсация за отсутствие половой жизни «там». Компенсация, которая могла происходить только в том мире, куда попал старик.

Старичок бормотал, иногда чуть приседая кивал головой пустоте. В его сознании, очевидно, происходили какие-то процессы, которые внешне, поскольку он был еще в земной оболочке, выражались ублюдочно и нелепо. Один раз Андрей Никитич даже залаял.

Падову казалось, что, поскольку у старичка отнялись мысли, он думая не думает.

Анне почему-то вспомнилась идея о множестве, может быть о бесконечности, миров, существующих помимо нашего, но где-то рядом с ним. «Один из них, — думала она, — налицо...».

Неожиданно Андрей Никитич споткнулся и медленно плюхнулся в кресло, как скованное чудовище... Дверь распахнулась и вошла Клавуша с приготовленным гусенком на блюде; она улыбалась всем своим провально-пухлым, масляным лицом: «Вот я какая быстрая!».

Водка была еще недопита; она стояла на столе, купаясь в вечернем свете. все уселись за стол, кроме, конечно, куро-трупа; последний был в забытьи и уже ползал по полу.

Анну и Падова поразило стремительное превращение живого гусенка в мертвое, сочное блюдо. Эта история вдруг внезапно очень больно кольнула в сердце, подчеркнув всю иллюзорность жизни.

Анна без содрогания не могла взять кусок мяса в рот. Клавуша же добродушно и наслажденно уписывала во всю.

— Полюбовничка своего жрете, Клавдия Ивановна? — умилился Падов.

Клавуша вдруг покраснела, но как-то безотносительно; хотя кусок все-таки застрял у нее в горле.

— Ну как прошло? — посочувствовала Анна.

— Идеть, — улыбнулась Клава. — Вот сейчас совсем прошел, и она довольно погладила себя по брюху.

Кусок действительно прошел.

XVI

На следующий день приехал Алексей Христофоров. Сверившись насчет Андрея Никитича, он, узнав о Падове, хотел было улизнуть, но Толя не дал ему такой возможности.

Аннушка тоже постаралась задержать его до вечера, своеобразно приголубливая. Христофоров прятался от них по углам, в сарае, между дровами.

Куро-труп никак на него не реагировал, но вообще был очень озлоблен и, надувшись, покраснев, сидел в сарае, высоко, на досках, так, как сидят, обычно, курицы на насесте.

Христофоров, ошалев от всего, ушел к деду Коле, хотя по дороге его почему-то напугала девочка Мила.

Если с Анной у Алексея были свои отношения, то Падова и его окружение Христофоров последнее время совсем не выдерживал. И тем более такого сочетания: Анна и Падов.

Он боялся Падова, боялся через него вызвать в себе какие-то безобразные импульсы. Хотя Падов часто нес при нем несусветную, юродивую дичь, Алеша чувствовал, что за всем этим скрывается такое, при виде чего надо бежать в травы и молиться.

Но все-таки и на сей раз, у Сонновых, ему не удалось увильнуть от Падова.

— А вы знаете о том, Алеша, — влюбленно глядя ему в глаза, сказал Падов, — что Бог противоречит Вашему существованию, — и Толя захихикал тем утробно-истерическим, по отношению к внешнему миру даже дебильным смехом, каким он всегда смеялся в таких случаях.

Христофоров так и рот раскрыл от изумления: он и не пытался осмыслить эту фразу, то есть представить в каком случае это возможно, чтобы Бог противоречил им же созданному, но почувствовал себя очень задетым и даже как бы пристукнутым. Чем более иррациональны были такие выходки, тем сильнее они выводили его из себя.

— Бог вовсе не противоречит моей сущности, — со слюной, растерянно проговорил он. — Бог меня очень любит, — уже как-то совсем глупо, как на приеме у психиатра, прибавил он, разводя руками.

Но потом опомнился. Вскочил и убежал к Анне, в комнату.

— Я уезжаю! — закричал он. — Этот черный ублюдок опять начинает меня дразнить!

— Да бросьте вы, Алеша, — вдруг вмешалась откуда-то взявшаяся Клавуша, — ласки вы просто не понимаете!!

Вскрикнув, Христофоров, схватил сумку и унесся — через двор, на улицу. По дороге ему показалось, что Бог, как Он есть на самом деле, а не в учениях, действительно противоречит его, Алешиному, существованию. От этого Христофоров вскоре почувствовал себя страшно поглупевшим и совершенно выкинутым из мира. Даже тело свое он ощутил не на месте.

Между тем Анна пошла пробирать Падова. Она видела, что после всех этих бурь по поводу вещи в себе, после этого «начинающегося синтеза» с подспудно-народным мракопомешательством, Падов сам находится во власти какой-то внутренней истерики, во власти своей стихии. Она чувствовала так же, что сейчас ему нет до нее дела.

Посреди всеобщей оторванности, посреди своих вспышек любви к идеальным, умопостигаемым сущностям и «бредовым» мирам, Анна нередко остро чувствовала и людей, разумеется близких ей по духу.

Поэтому отношение Падова задело ее. Ей было обидно, что она не в центре Толиного состояния и чтобы поддержать себя, она, спускаясь по лестнице, погладила собственную грудь, на мгновенье захлестнувшись в любви к себе.

— Оставь ты в покое Алексея, — накинулась она на Падова, — что тебе он? Пусть живет в своем комфортабельном, христианском мирке...

Но Падов прервал ее.

— Вот что, — тихо проговорил он, — я чувствую: что-то надвигается... Ты оставайся здесь, если хочешь, а мне надо уехать. Но скоро мы все равно увидимся.

По Толиному лицу Анна видела, что он говорит правду и что он бесповоротно куда-то уезжает, вернее бежит...

«Чем скорее, тем лучше», — подумала она.

Через час Падов уже выходил из дому. Но до этого он о чем-то долго шептался с Клавой. Как потом Анна узнала, речь шла о Федоре.

XVII

Анна проводила Падова почти до самой станции. Она не знала с кем прощается: с вещью в себе или с человеком.

Поганая кошка все время бежала и мурлыкала около ее ног. Испугавшись мыслей, направленных на мир, Анна ушла в себя и там, на дне души, видела озарения; в озарениях и пришла домой.

Далеко, под деревом кто-то истошно выл.

Измученная, Анна рухнула в постель и заснула.

Посреди ночи ей стал видеться сон. Сначала она увидала Извицкого — того самого, про которого Алеша Христофоров говорил, что он кошмарен. Пожалуй, после Падова он был самым близким для Анны.

Извицкий вошел тихо-тихо, открыв дверь Аниной комнаты, здесь, в Сонновском доме. Но, как часто бывает во сне, пространства смешались: сама комната виделась та, в которой Анна жила в Москве. А окно из нее вело не в Москву, а в синее пространство, где реяли голуби, точно сорвавшиеся с религиозных картин.

Извицкий как будто замешкался, осматриваясь, словно ничего не узнавая. В одном углу стена комнаты была чуть раздвинута и за ней зияла бездна.

Анна чуяла, что она — здесь, в этой комнате, и хотя себя не видела, но чувствовала свое присутствие, где-то рядом... Тело у Извицкого было мягкое, гладкое, со складочками, впитывающими в себя, но выражение лица его запомнилось озлобленно-тоскливое...

Наконец, он медленно пошел к Аниной постели, туда, где она неожиданно уже не только чувствовала, но и видела себя. И тут Анне стало сниться что-то совсем невероятное и жуткое. По мере того как Извицкий подходил к ней, она исчезала.

Исчезала, вытесняясь из сна в какое-то ничто.

Та жгучая субъективная привязанность, которую чувствует спящий по отношению к самому себе, виднеющемуся во сне, тоже стала пропадать. Потому что самой себя не оставалось. Это постепенное исчезновение было не только страшным и мучительным, но и странным, точно медленное выталкивание из самого мира. У Анны, на внутренней

стороне раскинутых во сне ног, даже выступил теплый пот, словно влага жалости и пощады.

Вдруг все сразу изменилось, произошел резкий, обозначенный разрыв: «я» разом, полностью выпало из сна и сон внезапно приобрел новое качество.

Он стал формализованным, жутким, словно происходящим во вне; если бы не его, существующая в то же время, слитность с душой, за ним можно было бы наблюдать с далеким спокойствием, как за действием на другой планете или в не настоящем. Мука прошла и Анна почти холодно следила за сном, не чувствуя где она, что она.

Извицкий между тем продолжал медленно подходить к постели, с тем же, даже большим желанием. «Что он там ищет? — подумала Анна, — ведь меня там нет». Ей стало не по себе: что можно искать на пустом месте. Извицкий вдруг очутился прямо над кроватью; под одеялом что-то двигалось; он со страстью и надеждой резко откинул одеяло... И Анна увидела: пустоту, но только извивающуюся. На постели ничего не было и в то же время эта пустота дергалась, притом очень сладострастно; от этого-то и шевелилось одеяло. Анне показалось, что Извицкий погано и понимающе улыбнулся этой пустоте. Что было дальше, непонятно, ибо в этот момент Анна стала просыпаться. Медленно возвращалась к себе. Отсутствие себя во время сна переносилось угрожающе тяжело, тяжелее любых фобий, особенно по последствиям; душа точно охолодилась.

Чуть опомнившись, она встала с постели. В окне была ночь. Звезды, мерцающие во тьме, вдруг заговорили и Анне почудилось, что это — ожившие, разбросанные по миру, голоса всех идиотов, тоскующих на земле...

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ

(Продолжение следует)

«КОНТИНЕНТ»

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ, ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И РЕЛИГИОЗНЫЙ ЖУРНАЛ.

Главный редактор ВЛАДИМИР МАКСИМОВ.
Зам. главного редактора НАТАЛЬЯ ГОРБАНЕВСКАЯ.
Ответственный секретарь ВИОЛЛЕТТА ИВЕРНИ.
Зав. редакцией АЛЕКСАНДР НИССЕН.

Редакционная коллегия: Василий Аксенов, Ценко Барев, Николас Бетелл, Энцо Беттица, Иосиф Бродский, Владимир Буковский, Армандо Вальядарес, Ежи Гедроиц, Александр Гинзбург, Пауль Гома, Густав Герлигг-Грудзинский, Корнелия Герстенмайер, Петр Григоренко, Милован Джилас, Ирина Иловайская-Альберти, Эжен Ионеско, Роберт Конквест, Наум Коржавин, Эдуард Кузнецов, Николаус Лобкович, Эрнст Неизвестный, Амос Оз, Норман Подгорец, Андрей Сахаров, Виктор Спарре, Странник, Сидней Хук, Юзеф Чапский, Карл-Густав Штрем.

Стоимость годовой подписки: 40 западногерманских марок.
Цена номера в розничной продаже:
10 западногерманских марок.

Адрес Генерального представительства:
A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB.
Bauerstr. 28, 8000 Munchen 40, West Germany.
Bankkonto: Bayerische Vereinsbank Munchen Nr. 6304630.
Postscheckkonto: Munchen 147391-804.

Желаю оформить подписку на 1 год (4 номера)
начиная с №.....

Имя: .....

Адрес: .....

Оплату произвожу:

приложенным чеком ☐ почтовым переводом ☐
через банк ☐



марина темкина

из песен Сапфо

— Пожалуюсь тебе, мой собеседник
единственный. Нет никого другого,
кому сказать убито, хладнокровно:
«Возлюбленный мой изменяет мне». —

Тебя не покоробит откровенность.
Дела житейские. К тому ж я не ревнива.
Как можно ревновать, когда избранник
женат, есть детки у него и есть рабыни,
неподалеку от Аркадии — поместье,
и с несколькими так или иначе
он женщинами связан. Я одна
из них. Затерянный наш остров
не предлагает выбора, а ролью,
что я, как все такая же, из многих,
я забавляюсь ею — и довольна:
могу играть на славу. Но не вечно.

То не упрек ему: ращу я дочку,
есть муж, и имя песнями известно.
Вот что его, похоже, привлекает,
не я сама и даже — не напевы,
но милое тщеславие мужское
услышать их на ухо и негромко
проговоренными, и новыми словами.

И я свои печали усмиряю
под ласкою. Нахохленное сердце,
как выпавшего из гнезда грачонка,
отогреваю мыслью: «Не продлится
всё это долго — ты уж потерпи».
Надежды нет — и не было надежды.
Я просто не показываю вида,
что знаю что-то, что бы не хотелось
мне знать и, зная, в памяти держать
о нем — и вообще о смертном муже.

Да и не глупо ль злиться на притворство?
Гораздо было б хуже, если б он
не утруждал себя простой уловкой.
Прославим ложь! её прекрасней нет,
когда ничем на правду не похожа,
когда — не оправдаться чтобы — ложь,
но чтобы сочинить другую правду,
получше настоящей — вот зачем.

— Но все же что-то в нем тебя, — ты спросишь, —
как будто продолжает привлекать? —

— Есть что-то неслучайное в устройстве
лица его. Глядит, как в полнолунье
светящееся существо на небе;
как будто началась в лице улыбка,
но дальше не пошла, не продолжалась.

Он слушает, как слушает огромность
морская при безветренной погоде.
Безмолвен, безучастен и подспуден,
как мысль, ему известная, но, видно,
не связанная внутренне со мной.

Как море, рядом медленно он ходит,
переводя дыханье за волною,
старающейся заключить в объятье
всё, что пред ней лежит — до горизонта,
стряхнуть за горизонт излишек звука
от речи сбивчивой, от частых оговорок,
висящих в воздухе, мешающих слиянью
осоки в дюнах и ему — с подругой.

Он также извлекает наслажденье
из каждой осязаемой минуты,
как Вакх; и та же бывшая кудрявость;
и тяжесть тела, сытого по горло
всем тем, что земледелец производит,
что выловит рыбак и что садовник
насушит и выносит продавать.

Моих стараний лишь на то хватает,
чтоб звук извлечь из арфы тонкострунной
и слух его аккордом усладить;
но это ненадежное искусство
в сравнении с искусством покоренья
сердец — и даже целиком народов.
Народ алкает песен. Так, возвратом,
все к арфе сходится, а значит и к арфисту,
я научаю песню, как ей — спеться,
она меня — как с милым поступать.

Всё дело здесь в отдаче. Иль, пожалуй,
в том, чтоб не пожалеть себя. И в этом
лежит причина нашего несходства:
ничем он не поступится для песен.
Но как хотела б ошибаться я!

И потому-то главное занятье
его: искать, терять и вновь бросаться
на поиски. В лице есть выраженье
неутоленного в младенчестве желанья,
выпрашивающего бесполезно
у взрослых: «Ну, возьми меня с собой...» —
как будто можно в жизнь, вовнутрь жизни,
кого-то взять, кому черед остаться
на берегу, что сторожит Харон.
В его глазах хранится это знанье,
подернуто небесной пеленою,
защищено тяжелым, словно вечность,
вобравшим тягу к ней покатым веком.

Иль словно бы он юношей-подростком
всё вился возле девушек, добиться
пытаясь их расположенья, но они
пренебрегали им. Тем застарелым зудом
обиды — жжет его воображенье,
не в силах ни унять, ни утолить.
Всё это страх: прогонят вон из жизни
когда-нибудь, куда уж тут — найти.

По мне же: всё сошлось на человеке.
Чего нам олимпийцы не прощают,
когда мы смертных путаем с богами,
тем самым превышая полномочья
одних, а что касается других,
то их — недооцениваем будто,
тем всякое запутывая дело.
Единственное оправданье мне,
что говоря с тобой, как с Аполлоном
или с одной из муз его, дающих
и мне сейчас возможность говорить,
я знаю разницу: тебя не умоляю
о помощи ни в трудностях амурных,
ни в страсти к совершенству изложенья,
которой ты меня и научил.

С тобою говоря — какой подарок
иной могу послать? какой, чтоб больше
порадовал? Прими, то мой привет.
Наш способ разговора — посчастливей
он будет всех иных и бескорыстней.
Ты различишь в нем отголоски чаек,
что слышал в детстве, глядя на залив.

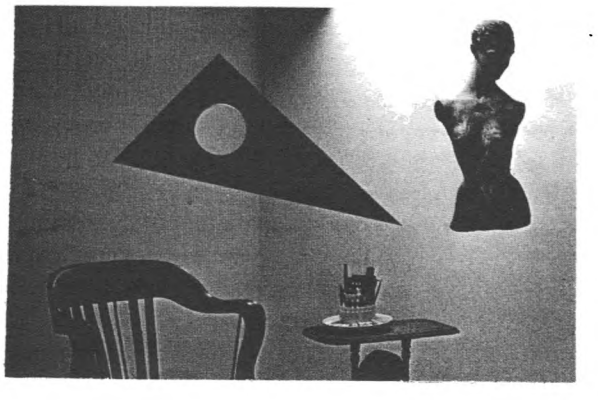
Ну, что ж еще о — том? В губах как будто
неуловимое затаено движенье
нездешнего — из камня — изваянья,
напоминающего: где-то есть другая
земля, ему родней, чем этот остров,
и там он путешествовал; но вряд ли
об этом он проговорится мне.
И глуховатой элинскою речью
его язык так произносит звуки,
как будто бы шуршит песок под ветром,
и плещется волна в прибрежных скалах.

И нежности он ремеслу обучен,
хоть ненадежен, да и не влюблен.
Я это понимаю, что ж — упреки?
Стрелу ему Киприда не послала,
и в этом нет вины его.

Ответ
мой на твое... о, нет, не любопытство,
но за меня тревогу... ты бы мог
не спрашивать, ты мог бы догадаться.
Покуда хочет он, чтобы ему
я напевала то, что сочиняю,
покуда слушает, я говорить хочу.

А мы с тобою встретимся, где тени
в подземном царстве обитают, и где ты,
увидев тень мою, ты шепотом не спросишь
у незнакомого: «А это кто?»

Декабрь, 85





александр хахулин

из цикла «невыдуманные рассказы»

ГЕНЕРАЛ ГВОЗДЕВСКИЙ

ПОЕЗД НАЧАЛЬНИКА ГУЛЖДС ГЕНЕРАЛА ГВОЗДЕВСКОГО ДВИГАЛСЯ С БОЛЬШИМИ ЗАДЕРЖКАМИ. ЭТО ЗЛИЛО ГЕНЕРАЛА И ГДЕ ПОЕЗД СТОЯЛ ПОДОЛГУ, ОН С ОСОБЫМ ОСТЕРВЕНЕНИЕМ СРЫВАЛ ПОГОНЫ С ОФИЦЕРОВ. ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ТАЙШЕТ—ЛЕНА ТОГДА ЕЩЕ ТОЛЬКО СТРОИЛАСЬ, ГДЕ ОНА БЫЛА, А ГДЕ ЕЕ НЕ БЫЛО, И СОВСЕМ НЕ БЫЛО МОСТОВ ЧЕРЕЗ РЕКИ, РЕЧУШКИ, ОВРАГИ.

Я содержался на 701 колонне, зона которой располагалась близ реки Убь. Река эта была не большая, но текла стремительно и это придавало ей особое значение. Через нее надо было строить трехпролетный мост. Строился он медленно, так как всего что-то нехватало, то цемента, то арматурной стали, то даже камня, добывался который нами же под боком. Укладка рельс вплотную подошла к реке, потом прыгнула через нее и пошла дальше, оставив над рекой брешь.

И вот к нам прибыл поезд генерала Гвоздевского, уперся в тупик у берега реки, из насыпанного кучей песка и остановился. Встречало генерало все начальство лагеря во главе с самим Филимоновым. Все в новеньких, с иголочки, отутюженных мундирах. Как только поезд остановился, встречающие кинулись к вагону, выделяющемуся среди других и размером и новизной окраски. Но Гвоздевского в его персональном вагоне не оказалось. Он возил за собой ресторан и как раз был в этом ресторане.

Увидев сквозь стекла окон встречавших его, он подошел к окну, приподнял створку, выставил в окно свой четырехугольный, выпирающий вперед лоб и, отыскав в толпе Филимонова, пальцем поманил его к себе. Тот подбежал не чувствуя под собой ног, вытянулся в струнку чтобы рапортовать...

— Сколько вас тут? — спросил генерал не слушая рапорта.

Филимонов не понял о чем спрашивает генерал, вытягивался все сильней и начинал дрожать.

— Я спрашиваю сколько вас тут? — рявкнул генерал.

— Кого, т-т-товарищ генерал?

— Вас, встречающих? А ну сосчитай всех до одного!

Филимонову пришлось считать долго. Он сбивался со счета и толком так и не сосчитав всех, решил ответить наобум:

— Сто двадцать два человека, товарищ генерал!

— Слушайте меня все сто двадцать два человека, — повысил голос генерал, — чтобы завтра поезд мой был на той стороне реки. Хоть на руках его переносите, это ваше дело. Сколько хотите столько и ставьте на работу заключенных, и чтобы сами, все сто двадцать два человека были здесь с лопатами и кирками. Ясно вам?

— Ясно, товарищ генерал!

И что же! На другой день поезд Гвоздевского переправили через реку. Опоры моста были сложены из шпальных клеток, вместо бетонных пролетных строений, уложили схваченные болтами пакеты лиственничных бревен, вместо обычных тяжелых советских рельсов А-1, которые требовались по проекту и которых не было в наличии, протянули рельсы облегченного типа, полученные из Канады.

Прежде чем тронуться поезду через мост, Гвоздевский выпил большой стакан коньяка и приказал всем, кто участвовал в строительстве временного моста, стоять под мостом.

— Если паче чаяния, — сказал он, стуча кулаком по низу окна, из которого выглядывал, — поезд мой загремит с моста, то я всех вас как мышей передавлю!

А лагерное начальство и умереть было согласно, лишь бы угодить хозяину ГУЛЖДС.

Таким же образом Гвоздевский миновал и другие реки и овраги. Движение по всей дороге было открыто, хотя каждый день и случались аварии, и как мухи гибли в этих авариях люди-винтики.

* * *

Нашей бригаде выпала тогда честь строить временный городок для Гвоздевского. Состоял этот городок из трех самых обычных палаток размером семь на двадцать один, какие были и у нас в зоне. Одна из них предназначалась для самого генерала, другая для его многочисленной свиты, а третья — для секретарш и стенографисток. Для них палатка разгораживалась на многочисленные клетушки, для каждой секретарши отдельная. Первой была закончена палатка для Гвоздевского, в которую сразу же завезли множество стульев и она стала походить на зрительный зал. Пока достраивались две другие палатки, в палатке генерала началось совещание.

За столом, в специально привезенном для него кресле со старинной позолотой, на высоко поднятом помосте сидел генерал. Он распивал чай, наливая его из чайников, которые все время менялись, он любил пить только горячий напиток. За другими столами, справа и слева от него, сидели секретарши и стенографистки. Ниже помоста, прямо перед столом Гвоздевского было сооружено, как потом называли его,

лобное место, размером метр на метр и высотой тоже метр, с узкой жердевой лестницей на него. Каждый отчитывающийся перед генералом лагерный офицер должен был говорить с лобного места. Отчитавшийся плохо, попадал в жестокую немилость генерала. Ему приказывалось сойти с лобного места и подняться на помост, к генеральскому столу. Гвоздевский поднимался с кресла, медленной покачивающейся походкой подходил к незадачливому офицеру, и самолично срывал с его трясущихся плеч погоны. Офицер превращался в солдата, некоторые навсегда, некоторые на определенное время.

Нечего и говорить о том как трепетали офицеры, поднимаясь на лобное место и находясь на нем. Страшное приключилось с начальником нашего лагерного отделения капитаном Зайцевым. Еще на подходе к лобному месту он поскользнулся и упал, а когда вскочил и вылез на лобное место, то стал докладывать заикаясь, вконец запутался, лишился чувств и загремел вниз, сломав правую руку.

После него лишилось чувств на лобном месте еще несколько офицеров. Однако погоны с упавших не снимались. Гвоздевский любил тех, кто перед ним особенно дрожал и об упавшем говорил:

— Лежачего не бьют!

После совещания Зайцев и другие офицеры, упавшие с лобного места, получили повышение. Зайцев из капитана был сразу произведен в подполковники и назначен третьим заместителем Филимонова...

* * *

Но однажды генерал Гвоздевский, этот человек, казавшийся нам и нашему начальству почти богом, потерпел фиаско в присутствии заключенных. Это случилось в бухте Ванино. Мы тогда строили пирс. Заключалась эта работа в том, что мы рубили из толстых в обхват, а то и больше, лиственниц, огромные ряжи, опускали их на морское дно и загружали камнем. Потом по этим опорам делали широкий настил из тех же в обхват и более лиственниц. Это были причалы, к которым должны подходить океанские пароходы и теплоходы. И вот однажды к одному готовому причалу, на который был разгружен принадлежащий лагерю каменный уголь, подошел военный крейсер. После привязки его, из крейсера выскочили вооруженные автоматами матросы и стали теснить нашу охрану не трогая нас. Тех из солдат и офицеров, которые не хотели подчиниться им, они били прикладами. Буквально через несколько минут на причалах не осталось ни одного охранника. Оказывается, крейсеру нужен был уголь, который он и начал немедленно грузить. Но уголь-то принадлежал лагерю. Начальник отделения майор Барута и другие отделенческие воротилы растерялись. Как тут быть? Что предпринять?

Да и мы, заключенные, вдруг оказались без их охраны, это бесило их больше, чем потеря угля. Бессилие бесило их.

В это время в городе Советская Гавань находился Гвоздевский. Ему немедленно была дана радиограмма и генерал прилетел в порт Ванино на вертолете, персонально закрепленном за ним.

Помню, как гордо и уверенно шел он во главе полусотни офицеров к причалу, где грузился углем крейсер.

— Ну, — думали мы, — достанется сейчас капитану крейсера и его помощникам, да и матросам.

Начальника, могущественнее, чем генерал Гвоздевский, мы себе не представляли. Он единолично принимал решения даже о расстреле заключенных.

Но стоявший у входа на причал матрос, преградил дорогу Гвоздевскому, прямо в грудь уперев ему дуло автомата.

— Сюда нельзя, товарищ генерал, — проговорил матрос.

— Я — начальник ГУДЖДС, — отрекомендовался Гвоздевский, — это мой пирс, мой причал, мой уголь, мои заключенные.

— Сюда нельзя, товарищ начальник ГУЛЖДС. Вот погрузимся, отчалим, тогда пожалуйста.

— Это мой уголь, — уже гремел генерал своим неукротимым басом.

— Ничего не знаю, товарищ начальник ГУЛЖДС.

— А кто знает? Доложите капитану сейчас же!

— Вот это можно! — у поста моряка уже стоял корабельный телефон. Позвонил по нему на корабль. Но ответа не было долго. Гвоздевский нервничал. Заложив руки за спину, он мерил тяжелыми шагами площадку перед входом на причал. Втянувши головы в плечи, молчали сопровождавшие генерала офицеры. Никто из них не осмеливался даже пошевельнуться, все смотрели только себе под ноги.

Наконец, где-то в самом верху корабля, открылось круглое окошко и в нем показался человек. Он видимо только что принял ванну или душ, был раздет и вытирал грудь полотенцем. Это был капитан крейсера.

— Что вам угодно? — прокричал капитан из окошка, обращаясь к генералу.

— Я могу к вам пройти, черт возьми, — прорычал в ответ Гвоздевский.

— Что вам угодно? — повторил вопрос капитан, продолжая растираться полотенцем, то приближаясь к окошку, то удаляясь от него.

— Пропустите меня наконец! Скажите это своему олуху! — генерал указал рукой на матроса.

— Это не олух, а матрос, товарищ генерал. Так что же вам угодно? Говорите оттуда. Я вас прекрасно слышу.

Генерал вынужден был предъявлять свои претензии капитану на расстоянии:

— Уголь принадлежит лагерю. Я запрещаю его брать! — кричал он, весь содрогаясь от злости и бессилия, — наконец, мои заключенные! Они остались без охраны по вашей вине...

— Ничем не могу помочь вам! — крикнул в ответ капитан и захлопнул окошко.

Красный, как кумач, Гвоздевский низко опустил голову и почти бегом кинулся к стоявшей неподалеку своей машине, неловко, от торопливости, влез в нее, причем за что-то зацепившись разорвал рукав плаща и укатил не солоно хлебавши.

Потом нам стало известно, что отыгрался он на подчиненном ему лагерном начальстве. Нескольким офицерам понизил звание, в кабинете Баруты разбил настольное стекло и ранил об него себе руку. Ни за что ни про что снял начальника работ, очень хорошо всегда обращавшегося с нами, прекрасного инженера Мельника, разжаловал в солдаты командира охраны майора Великодольского...

А всем нам заключенным, видевшим тот позор Гвоздевского, по его личному приказу, три дня подряд, выписывали штрафные пайки и содержали нас в БУРе.

У сильного всегда бессильный виноват.

ЛЕТОПИСЬ РУССКОЙ СВЯТОСТИ

Впервые книга замечательного русского историка и публициста Георгия Петровича Федотова "Святые древней Руси" была издана в Париже в издательстве ИМКА-Пресс в 1931 году, т.е. через 6 лет после того, как Федотов эмигрировал из советской России и стал преподавателем парижского православного Богословского института...

С тех пор это исследование стало библиографической редкостью, я сам, когда жил в России, не раз встречал его машинописные перепечатки. Так что новое переиздание монографии Федотова, удачно совмещающей лаконизм и доступность со свежим взглядом на 700-летнюю историю русской святости вплоть до синодального периода, – вызвано насущной необходимостью.

Это тем более важно, что православие и его религиозные светочи или совсем убраны из, так сказать, *советских* версий русской истории или подаются в ее учебных курсах отрицательно, пропагандно и лживо. Обязательный для всякого советского ученого атеизм изгоняет религию из российской истории или стремится всячески дискредитировать и опорочить ее.

А между тем, – пишет в вводной главе своего исследования Федотов, – "если мы не обманываемся в убеждении, что вся культура народа, в последнем счете, определяется его религией, то в истории русской святости мы найдем ключ, объясняющий многое в явлениях и современной русской культуры. Ставя перед собой грандиозную задачу ее оцерковления, ее обратного включения в тело вселенской Церкви, мы обязаны специфицировать вселенское задание христианства: найти ту особую ветвь на Лозе, которая отмечена нашим именем: русскую ветвь православия".

В своем труде Федотов не раз ссылается на трудность воссоздания истории нашей святости в силу того, что допетровская Русь не имела достаточно богатой традиции словесной культуры: религиозное творчество с большею остротой проявляло себя в иконописи, в монументальном фресковом искусстве, в архитектуре.

Но, опираясь, как он сам говорит, на "агиографическую житийную литературу древней Руси", Федотов не только удачно и тонко воссоздает образы российских святых, но и делает чрезвычайно интересные выводы.

Парадоксально, но факт, что у истоков истории русской святости стоят не мученики за веру, что было характерно, скажем, для греческой церкви, но погибшие в междоусобице князья: братья Глеб и Борис, принявшие мученическую смерть без сопротивления.

Прославление Бориса и Глеба, – метко замечает Федотов, – "означает, что русская церковь не делала различия между смертью за веру во Христа и смертью в последовании Христу, с особым почитанием относясь ко второму подвигу".

Но Федотов подчеркивает, что ни в коем случае нельзя думать, будто в лице святых князей русская церковь канонизировала национальные политические заслуги. Ведь не канонизированы – ни Владимир Мономах, ни Ярослав Мудрый. Нельзя сводить канонизацию и исключительно к личной праведности канонизируемых. По Федотову, выше всего ценит Церковь "жертвенную ревность служения. Венцом же общественного служения является жертвенная смерть, готовность стать страстотерпцем" (и в этом смысле недавняя канонизация Николая II с семейством – глубоко канонична и отвечает российской православной традиции).

Помимо мучеников и святых и благоверных князей, Русская церковь почитает еще "святителей", т.е. церковных епископов, среди которых такие славные имена, как, например, Св. Иоанн Новгородский, спасший Новгород от осады Андрея Боголюбского в 1170 году благодаря иконе Пресвятой Богородицы, вдруг заслезоточившей и – Иоанн принял ее слезы в свою фелонь. От этого события, – пишет Федотов, – и ведет свое происхождение праздник чудотворной иконы Знамения, который сохранился и "после падения новгородской свободы".

Татаро-монгольское нашествие нанесло русской церковной жизни страшный удар. Но именно под татарским игом со второй четверти XIV века возник новый "тип" подвижничества: пустынножительство. "Тяжелая и смутная жизнь городов, – констатирует Георгий Федотов, – разоряемая время от времени татарами, и упадок городских монастырей" толкнули ревнителей христианства уединиться и вести жизнь отшельников.

"Взяв на себя труднейший подвиг пустынножительства – и притом необходимо связанный с созерцательной молитвой, они поднимают духовную жизнь на новую высоту, еще не достигнутую на Руси" (...) Главою и учителем нового пустынножительного иночества был, бесспорно, преподобный Сергий Радонежский, величайший из святых древней Руси".

Скупыми, но выразительными и ясными красками рисует Федотов портрет прославленного святителя, начавшего с пустынножительства и ставшего (как бы помимо своей воли) основателем сыгравшей столь важную роль в истории российского самосознания – Троице-Сергиевой Лавры. "В завершенной святости преп. Сергия, – пишет Федотов, – по-видимому, не было места для тяжелых конфликтов, или они скрыты от нас. Преп. Сергий представляется нам гармоническим выразителем русского идеала святости, несмотря на заострение обоих полярных концов ее: мистического и политического. Мистик и политик, отшельник и киновит совместились в его благодатной полноте. Но в следующий век пути разойдутся: ученики преп. Сергия направятся в разные стороны".

Бесспорно, что Федотов имеет тут в виду два обозначившихся в XV столетии, если можно так выразиться, *типа* русской святости, ярче всего проявившихся в двух знаменитых русских святых – Иосифе Волоцком, стороннике уставного, организованного в хозяйственные общины монастырского православия, и – Ниле Сорском, придерживавшемся пути более духовного, нутряного, – его направление вошло в историю под именем "нестяжательства". (Попутно замечу, что в глубинке вологодской области, недалеко от Кирилова, и по сей день уцелели остатки обители преп. Нила – там теперь областной сумасшедший дом, нечто сюрреалистическое, кошмарное.)

Вот как характеризует эти два типа русской святости Георгий Федотов: "Противоположность между заволжскими "нестяжателями" и "иосифлянами" поистине огромна, как в самом направлении духовной жизни, так и в социальных выводах. Одни исходят из любви, другие из страха – страха Божия, конечно, – одни являют кротость и всепрощение, другие – строгость к грешнику. В организации иноческой жизни на одной стороне – почти безвластье, на другой – суровая дисциплина. (...) Нестяжатели предпочитают трудовую бедность, иосифляне ищут богатства ради социально организованной благотворительности. (...) Наконец, первые дорожат независимостью от светской власти, последние работают над укреплением самодержавия и добровольно отдают под его попечение и свои монастыри и всю русскую церковь. Начала духовной свободы и мистической жизни противостоят социальной организации и уставному благочестию".

Канонизированы были оба возглавителя этих двух течений русского православия: и преп. Нил и Иосиф Волоцкий. В целом же "победило" направление Волоцкого – как способное с большей крепостью цементировать духовное основание самодержавного российского государства. Но рана от разделения – осталась и дала свои страшные метастазы в XVII веке, когда произошел раскол русской церкви.

Федоров останавливается и на еще одном типе русской святости: на юродивых Христа ради. "Необычайное обилие "Христа ради юродивых", или блаженных в святцах русской церкви, и высокое народное почитание юродства придает этой форме христианского подвижничества национальный русский характер", – замечает Федотов.

Бессмертный образ юродивого создал Пушкин в своей драме "Борис Годунов". Но русский юродивый – это не "Иов многострадальный", вопрошающий к Богу о справедливости. Это, если угодно, пророк, обличитель, выпавший из всех социальных рамок и ничего не боящийся, ибо терять ему – нечего. И цари – владыки мира сего – боятся юродов: ведь их никак не накажешь: ибо и мученическую смерть они примут – вослед Христу – с благодарением Богу.

Русская православная жизнь допетровского времени отличалась чрезвычайной интенсивностью, была формообразующей закваской духовного бытия – вот главный вывод, который можно сделать по прочтении книги Федотова "Святые древней Руси".

"Революция, – заканчивает свою монографию Федотов, – вызвала небывалое цветение святости и мученичества. (...) Придет время, и русская церковь станет перед задачей нового крещения обезбоженной России. Тогда на нее ляжет ответственность и за судьбы национальной жизни. (...) И опыт общественного служения древних русских святых приобретет неожиданную современность, вдохновляя Церковь на новый культурный подвиг".

Юрий Кублановский

ШАТУНЫ

«Шатуны»... Для француза это слово по-своему звучанию ассоциируется с «котенком», со «щекоткой». Но на русском языке слово «шатун» скорее имеет смысл зловещий. Шатун — это раненый или больной медведь, который, пока его собратья крепко спят зимой в своих берлогах, бродит, мучается и угрожает... Одним словом — опасный отшельник, а в народной речи даже и нечистый, злой дух, черт. Тот же семантический элемент просматривается и в фамилии героя «Бесов» Шатова, ибо он блуждает у ворот веры. Впрочем, Мамлеев, который развесил портреты Достоевсого в комнатах, где живут его герои-монстры, часто, на мой взгляд даже слишком часто, цитирует Достоевского — мы знаем, что тот терпеть не мог ни спиритизм, ни его апологетов. Тем не менее, роман написан в традициях Достоевского, его теневые стороны перекликаются с такими вещами, как «Двойник», «Записки из подполья» или фантастический рассказ «Бобок». Этот роман принадлежит к исконно-русской литературе, воплощенной такими ее мастерами, как Гоголь, Достоевский (в особенности), Салтыков-Щедрин, Федор Сологуб, Андрей Белый, Алексей Ремизов, Андрей Платонов. Мамлеев тоже мастер русского гротеска, наследник этого фантастическо-метафизическо-гротескного направления, цель которого — нащупать живую душу, скрытую под слоем разных преувеличений, уродства и ненависти.

«Шатуны» — роман страшный. Чувствительным душам советуем воздержаться. При прикосновении к этому миру ужаса, крови, секса, алкоголизма и безумия возникает легкое отвращение, даже подчас тошнота. Закрываем мы книгу нравственно опустошенными, разбитыми, выдохшимися. От этого не спасает переходящий все границы юмор писателя. Даже поток сарказмов и символов бессилен изгнать из памяти доведенную до предела извращенность. Мамлеев-метафизик стушевывается перед Мамлеевым-художником, и яркость его инфернальных видений затмевает их философский смысл. Роман, как фильм ужасов, забрызган кровью и спермой, а его фон — убогое и грязное русское прозябание там, где деревья — «не деревья уже были, а искаженные человеческие души». Это напоминает камеру ужасов Великовича с его крысами и людьми с содранной кожей, или же уродцев сюрреалиста Додо, или же исполненных тревогой персонажей Френсиса Бекета. Посудите сами: убийца, усеивающий свой путь трупами, садится перекусить, запросто беседуя с ними; взобравшийся на дерево подросток с удовольствием поедает свои прыщи, нарывы и лишаи и кончает полным самопожиранием; сексуально одержимый, «голая похоть которого покрывала землю своими слоновьими ушами», воющий в наслаждении, когда пробивает роднички зачатых женой детей посреди мусорной ямы; толстая, гладкая как свинья крестьянка, жарящая гусят, которые при жизни служили ей для мастурбации, убийца, выросший как будто из-под земли и насилующий агонизирующую женщину; святоша, втайне боящийся смерти,

Юрий Мамлеев. «Шатуны», роман, перевод с русского Пьера Газимиса и Анны Кольдефи-Фуко. Изд. Робер Лафон.

превращенный в курицу, клюющую с кудахтаньем зернышки... Прибавьте к этому еще и льющуюся рекой водку, садистов, которые шутки ради разрывают на части животных, любительские сеансы эзотеризма, как водится, при свечах, девчонку с отсутствующим видом, вылизывающую кастрату его пустой пах, другой персонаж, который мастурбирует со своим «я» в зеркале — «как огромная потусторонняя жаба, он ползал по зеркалу, стараясь обнять свое отражение» — и вы получите идею этого безумного романа, то, что автор так едко и беспощадно называет «русским эзотеризмом под водочным соусом». Интрига в романе — не более чем путеводитель блужданий; заканчивается роман, как детектив: арестом убийцы, который хотел предать смерти своих друзей-метафизиков и его казнью.

После всего того, что мы перечислили, нам осталось бы только захлопнуть книгу, если бы в ней сквозь толщу всех этих ужасов не просвечивал бы настоящий духовный поиск в мире абсолютного зла, осуществляющийся через метафизический соллипсизм, затронутый соллипсизмом сексуальным. Гротеск, говоря словами его теоретиков — единство противоположностей, пошлое и возвышенное, тело и дух, земля и космос, демонизм и святость; он примиряет непримиримое, создает свой собственный хаос, населенный чудовищами мир, он смещает и перемещает все ценности. Мамлеев умело использует эту двойственность гротеска. Абстрактные понятия одушевляются, хотя и лишены формы; люди кажутся фантастическими существами, сошедшими с полотен Иеронима Босха; богохульство становится молитвой. Постоянная двойственность романа выражается в том, что подонки становятся богами или святыми: «у всех троих садистов оживились личики и точно появились невидимые короны». Убийца Федор оплодотворяет трупами своих жертв святые места России; его пышнотелая сестра Клавдия ощущает себя жрицей и воздвигает всюду идолов своей абсурдности; «развесив несколько странных плащей на деревьях».

Стиль ведет этот безумный роман к вершинам исступления, где, несмотря на насмешку, ощущается головокружение, настолько эти сцены незабываемы во всей их конкретности — Петькино самопожирание, самооргазм в зеркале Извицкого, саморевность Падова, который предал свое «Я» с женщиной. Через гротеск и притягательность грязи виден тревожный смысл романа. Мамлеев дает нам символы, позволяющие раскрыть этот смысл.

Прежде всего, это ономастика — имена говорят сами за себя. Убийца зовется Сонновым, он видит мир как бы сквозь сон, он живет в иной ральности. Страстно увлекающаяся эзотеризмом красавица-москвичка Анна носит фамилию Барская, что говорит об ее аристократизме. Ее любовник Падов ищет свое высшее «Я» в падении. Любовник этого «Я» — Извицкий — нечто извивающееся. Есть в этом трансцендентальном сумасшедшем доме и несчастный заблудший христианин с прозрачным именем Христофоров.

Затем Мамлеев раскрывает глубокий смысл могильного и сексуального кривляния. Убийца Соннов с огромным «сумеречным» животом, который для него нечто вроде «второго лица» (ведь «живот» и «жизнь» происходят от одного корня), — существо, глядящее внутрь себя. Для него мир бесплотен, а вокзальная толпа не больше, чем «ходячее кладбище», «скелеты, излучающие голубое пламя». Этого звероподобного метафизика притягивают «не трупы, но жизнь трупов», и убивает он с тем, чтобы кончиком ножа дотронуться до самой души.

В какой-то момент метафизическое инстинктивное чудовище и интеллектуальная эзотерическая красавица воссоединяются, чтобы проникнуть в глобальную тайну существования высшего «Я» и тайну другого. Этот гротескный роман ставит извечный вопрос: «Я» и «Другой» во всей их трагической несовместимости. Мамлеев, который утверждает, что он знаком с людьми подобного сорта, в своем романе различает две человеческие категории. С одной стороны, настоящий русский народ, выброшенный в подмосковные трущобы, — неуклюжий, сильный и неистовый, инстинктивно идущий по пути удовлетворения своих разрушительных фантазий. С другой стороны — метафизики — марионетки абсолютного, — которые в грязных пивнушках играют в мистиков и стараются изо всех сил создать религию высшего «Я», смысл которой в том, что они не только центр мира, но и единственное в мире существо. Их унылые, пьяные, кровавые сексуальные игры, их некрофилия, их умствования на тему бесконечной любви к себе, обуславливают их жалкий конец, их деградацию. Слишком много «трансцендентального» приводит их на «скорбный путь встречи с потайным миром». Мамлеев предпочитает народ и превращает смерть Соннова в пробуждение спящего к жизни.

Таков этот первый роман, превосходно переведенный, несмотря на поистине платоновскую сложность чувственного, пользующегося всеми источниками языка. Мамлеев родился в 1931 году в Москве. В 1975 году он эмигрировал в Америку (США), с 1983 года живет в Париже. Мамлеев не является, как многие другие, политическим диссидентом, он — диссидент в более глубоком смысле, он — диссидент духа, чистого и сумрачного, вызывающего и мистического. В своем поиске он верит в метафизический соблазн. Писатель гротеска, он не дает никаких рецептов, никаких решений, однако, можно сказать, что русская земля духовно оскудела, что она жаждет духовности, даже если в стране убийтой религии дух приходит опасными путями эзотеризма; что русский человек мечется между саморазрушением и самопоклонением и что проповедует глубинный культ своего «Я» именно в силу своей пресыщенности идеями коллективизма. Вынужденный обратиться к метафизике, герой становится до отчаяния одержимым.

Это сильный роман, способный перевернуть вам душу.

Жак Катто
«Magazine Litteraire»

Август, 1986



михаил геллер и владимир максимов: беседы о современных русских писателях



ВАЛЕНТИН РАСПУТИН

М.Геллер: Я думаю, что наш разговор о Валентине Распутине будет особенно живым, потому что в отличие, кажется, от всех других писателей, о которых мы с вами беседовали, он совсем недавно опубликовал новое произведение — повесть «Пожар». Поэтому мы сможем поговорить и о его прежних вещах, и о «Пожаре». Для меня до сих пор, до «Пожара», Распутин был прежде всего и, может быть, исключительно автором повести «Живи и помни». С моей точки зрения, это одно из самых больших произведений последних десятилетий и одна из необычайно редких в советской литературе настоящих трагедий. Мне кажется, что в этой повести Распутин вынуждает своих героев сделать выбор, подлинный выбор, который может быть только трагическим. Когда я читал эту повесть, то мне показалось, что моделью автора является трагедия Софокла «Антигона». У Софокла Антигона решает похоронить своего брата несмотря на запрещение. Она нарушает закон города Фивы во имя человеческого закона. И знает, что тем самым обрекает себя на смерть. Иными словами, тут имеет место то, что я называю подлинным выбором. Антигона выбирает свои убеждения, свой идеал, пренебрегая законом государства и общества. И за этот выбор расплачивается жизнью. В «Живи и помни» также конфликт, также выбор — любовь к мужу, кровная связь, и закон государства, карающий изменников. Я был поражен появлением этой трагедии в советской литературе, где, как правило, бывают только «оптимистические трагедии», ибо выбор у советских героев всегда между решением правильным и неправильным.

Владимир Максимов: По-моему, «Живи и помни» — да простят меня поклонники Распутина! — единственная его вещь о подлинной общечеловеческой, вечной, если хотите, проблеме. Вещь, с которой мог бы начаться настоящий и, мне представляется, очень большой писатель. Что же касается его предыдущих и последующих произведений и в особенности этой последней повести, то мне думается, что развитие прозы Распутина пошло по нисходящей. Если вы хотите, я изложу вам свою концепцию, вернее, свое видение этой его новой небольшой повести.

Мне эта повесть представляется не только шагом по нисходящей в литературном смысле слова, хотя она и здесь, в эмиграции, вызывает самые восторженные отзывы, но и в какой-то степени шагом, направленным на то, чтобы поставить свое перо на службу государству.

М.Г. Тут я с вами, пожалуй, не соглашусь. И я читал эту повесть после того, как видел на нее очень хвалебные рецензии, читал как бы уже заранее предубежденный, ибо очень хвалебные рецензии всегда кажутся мне подозрительными. Может быть, в литературном отношении «Пожар» значительно уступает и «Живи и помни» и даже предыдущей повести «Прощание с Матерой». Но для меня «Пожар» — произведение чрезвычайно интересное. И, по-моему, крайне важное. Распутин долго не писал после публикации в 1976-м году «Прощания с Матерой». Не писал почти десять лет. Герои «Пожара» — это герои «Прощания с Матерой», это мужики, переселившиеся с затопленного острова в какой-то поселок. И мне кажется, что, может быть, впервые в советской литературе писатель так страшно кричит от боли. «Пожар» — плач по погибшему народу и погибшей земле. Пожар символический — сгорает все. Но сгорает все, потому что мужиков, у которых отобрали землю, залив ее, превратили из производителей, из тех, кто обрабатывал землю, в истребителей. Их занятие — уничтожение леса, безжалостное, совершенно безумное, которое ведет к уничтожению земли. Я понимаю, что можно написать все гораздо более отчетливо, но в данном случае я понимаю и положение писателя, который вынужден там бороться за право что-то сказать. Мне кажется, что Распутин раскрывает очень многое, и в частности, когда его герой говорит: «Лучше мы бы без плана жили, лучше бы мы другой план завели, чтобы учитывалось, сколько душ потеряно». Для меня это прямая перекличка с повестью Андрея Платонова, который первым кричал от боли, видя уничтожаемых крестьян и землю. Уже в «Усомнившемся Макаре» в 1929 году пролетарии, к которым Макар приехал в Москву, предлагая им какие-то изобретения для облегчения труда, говорят ему: «Нам труд легок. Ты нам душу дай, раз ты изобретатель». Исчезновение души, которое начинается в 1929 году, заканчивается в 1985-ом. Мне думается, что Распутин показал это. Он использует — я предупреждаю ваши возможные упреки — уже известные в литературе штампы. Он использует, скажем, как бы бродячие сюжеты. К примеру, пожар видели у Тендрякова в «Поденка — день короткий». Распутин

использует и бродячий сюжет архаровцев, групп людей, сплоченных, знающих чего они хотят, которые устанавливают свою власть над, в данном случае, поселком, над деревней. Но, по-моему, использование подобных штампов, если хотите, литературный прием. Все эти штампы появились в деревенской литературе шестидесятых годов, когда казалось, деревня приходит в себя после сталинской разрухи. Прошло еще двадцать лет — и оказывается, все стало еще хуже. Эти архаровцы, банда, представители чистого зла, устанавливают свою власть. И кстати, вот я отметил себе цитату: «Зло победило, ибо стало силой. Сила стала злом и зло стало силой». И тут для меня очевидны какие-то ассоциации, связи. Я помню, как товарищ Сталин в 1931 году говорил, что «если ты силен, то ты прав». Я прочитал «Пожар» как жалобу не знаю кому, и, может быть, не зная на кого. Но во всяком случае — это жалоба, это крик отчаяния, это констатция смерти.

В.М. Может быть, можно прочесть и так. Я этого, к сожалению, Михаил Яковлевич, не прочел. И дело не штампах, я на это обращал меньше всего внимания. Дело — в ложной концепции, на которой это все построено. Начнем даже с повести «Прощание с Матерой». Вы говорите, что это трагедия людей, которые были производителями и стали потребителями.

М.Г. Нет, они стали истребителями.

В.М. Истребителями?

М.Г. Да.

В.М. Позвольте, а давайте вспомним всю историю нашей колхозной эпохи. А были ли они достаточно качественными производителями, когда жили в Матере? Понимаете? Мало того, в «Матере» героями повести являются люди в основном среднего или старшего возраста. Это люди, которые пережили самую страшную трагедию в истории русского крестьянства: коллективизацию! Вот когда был уничтожен производитель в селе! Не тогда, когда их переселяли из «Матеры», а прежде. И об этом даже намеком писатель не сказал в «Прощании с Матерой», хотя эта тема уже и у Залыгина, и у Белова, и у целого ряда других писателей проходила, и была раскрыта довольно остро и откровенно. Распутин же этого самого главного переломного пункта в истории русского крестьянства не коснулся. А уже и в Матере-то, если вы разберетесь, герои были и потребителями, и истребителями.

М.Г. Совершенно правильно.

В.М. Только в условиях поселка это еще больше обнажилось, потому что не осталось ответственности даже перед приусадебным участком, даже перед своим личным имуществом. Но когда вы читаете советскую печать нескольких последних лет, так, начиная примерно с Андропова, и сравниваете ее с повестью Распутина, повестью талантливой, я с этим согласен, вы вдруг чувствуете совпадение пафоса: что опять виноваты сами люди! И кстати, для меня такой подход является очень страшным символом как раз вот этой государственной демагогии; в общем все есть, но нерадивость людей, нежелание работать, неумение распределить эти богатства являются источником всякого зла, то есть, люди виноваты сами. Хотя прекрасно Распутин понимает, что в тоталитарной структуре возникают такие обстоятельства, когда человек, особенно человек, собранный в так называемый коллектив, не волен над собой. И когда опять-таки Распутин проводит параллель между этим поселком и поселком сына, к которому едет герой — там и цветочки растут, и порядок — это уже прямая ложь. Поселок этот находится при авиачасти или аэродроме. Там совершенно другие и обслуживание, и уровень снабжения, все другое. И там, например, уходом за этими цветочками не занимаются сами жители поселка, для этого существуют специальные службы. Сравнивать эти два поселка — просто, по-моему, я не побоюсь этого слова, аморально. Выходит, что в бедах поселка виноваты люди, которые живут у большого богатства, где все есть оказывается — и колбасы, и сыры, и японские какие-то товары — но вот-де, сволочи, обслуживающий персонал, бюрократия, да и сами люди, не могут этим хорошо распорядиться. И опять мы возвращаемся к теме нашего постоянного разговора о деревенской литературе. Они, может быть, при всем своем таланте делают очень негативную работу в смысле именно возрождения человеческой памяти, о которой мы тоже всегда с вами говорим. То есть все беды возвращают самим людям и говорят им: от вас зависит, очнитесь от пьянства, возьмитесь за работу, и все у вас будет хорошо. Увы, это не так!

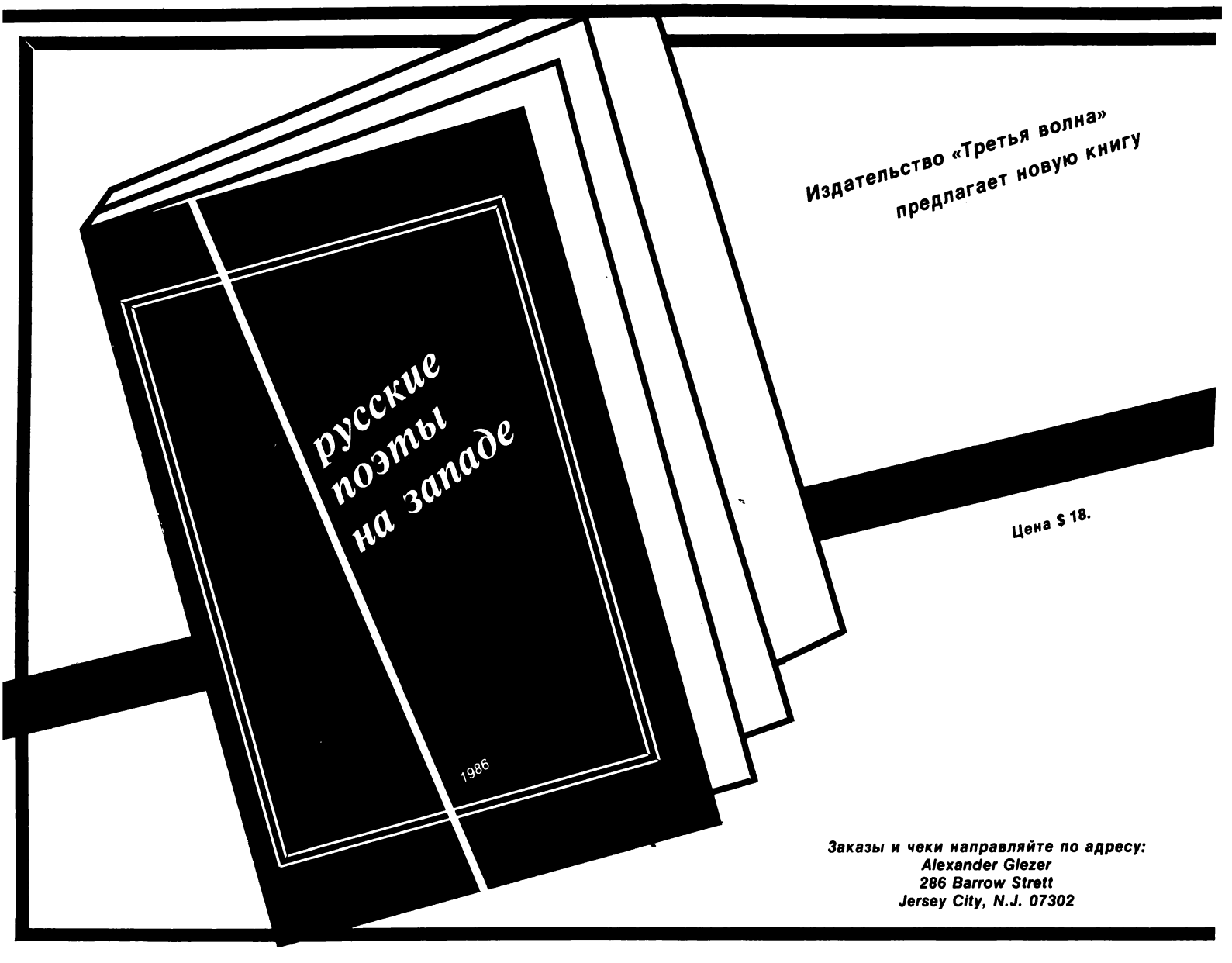
М.Г. Я прочитал эту повесть несколько иначе. Я с вами согласен относительно «Матеры», и кстати, я обратил на это внимание и в «Живи и помни». Коллективизацию Распутин вообще никогда не вспоминает. Может быть, одной фразой — что были тяжелые времена. Но я думаю, что здесь, в «Пожаре», он идет все-таки дальше того места, на котором остановился в «Прощании с Матерой». Вы говорите — здесь все есть на складе, это правда. Но это есть не для жителей поселка, это есть для тех, кто в поселке чем-то и как-то руководит. И я обратил внимание на странную деталь, которая, с вашей точки зрения, может быть поставлена в упрек Распутину. Деталь это такая: в поселке во время пожара все на месте, однако нет ни одного представителя партии, который обязан присутствовать не только по законам советской литературы, но и по законам правдоподобия. Где-то есть секретарь ячейки или представитель райкома и так далее. Партии же здесь нет совершенно. Возможно, Распутин хотел пощадить партию. Возможно, он хотел показать нежелание партии помочь людям, которые теряют во время пожара все. Относительно же чудесного поселка, в котором все есть — я прочел этот эпизод, как единственную оптимистическую нотку, которая как бы необходима в такой черной повести. Но, кроме того, я прочел это как изображение утопии, о которой мечтали русские мужики еще в 17-м веке, — о Беловодье, где все есть и где кисельные реки с молочными берегами. И наш герой — единственный праведник — бросает поселок и уходит куда-то. Все погибло. Пожар сжег все, осталась земля, которая тоже уничтожена этими людьми. Я, во всяком случае, был под большим впечатлением, когда я прочел эту повесть, она мне показалась, я еще раз повторяю, таким страшным криком.

В.М. Может быть, повторяю, можно прочесть и так, хотя прямо вам скажу, Михаил Яковлевич, вы меня никак не переубедили. Когда я читаю сейчас поэму Евгения Евтушенко или Андрея Вознесенского во славу новой политики партии в газете «Правда» или в газете «Известия» Роберта Рождественского, это примерно то же самое. Не по талантливости, не по уровню литературы, а по своей политической якобы смелости. Ведь это вещи, которые еще пять лет назад не могли бы быть напечата-

ны. Например, прославление Николая Вавилова как жертвы в общем темных сил каких-то, кстати, с очень аморальными намеками на эти темные силы; прославление художников наших авангардистов двадцатых годов, которых какие-то «как бы чего не вышлики» — как называет их господин Евтушенко, не разрешают показывать нашим советским людям и вывозят только за рубеж и так далее. По смелости своей политической, это казалось бы Бог знает что... Но дело-то в том, что когда вы начинаете это рассматривать действительно со стороны, то видите, что это все находится в русле нынешней партийной политики. Так или иначе, может быть, это получилось случайно, но мне кажется, что повесть Распутина совпадает с той партийной политикой, которая сейчас проводится. Ну, из искренних или демагогических побуждений так получилось — не знаю. И я совсем не утверждаю, что я прав в таком прочтении повести. Может быть, я слишком заражен политически злободневностью, потому что в силу своего положения, как редактора журнала, как публициста, как общественного какого-то, если хотите, деятеля, я все-таки слишком тесно связан с политикой. И может быть, мои политические комплексы, мои политические предубеждения накладываются в данном случае и на литературную ткань. Но если даже повесть «Пожар» написана искренне, а не с прагматической целью, я не хочу подозревать художника такого таланта в подобных намерениях, то, во всяком случае, опубликована она именно с целью поддержать политику нового партийного руководства.

М.Г. Могу только сказать, что если для поддержки нынешнего партийного руководства нужны такие произведения, то оно действительно находится в тяжелом положении.

В.М. Что оно находится в тяжелом положении, это несомненно, но только время покажет, помогало ли появление таких произведений улучшению, оздоровлению моральной атмосферы общества, или эти произведения помогали правительству. Давайте дадим времени ответить на этот наш спор у микрофона.



артем веселый

вольница

буй

крыло из стокрылья

праздничек

Весна восемнадцатого. Первая н а ш а весна. Кубань, Черноморье, Новороссийск, Ресефесерия. Пыл. Ор. Ярь. Половодье — урывистая вода...

Всю дорогу разговоры в вагоне. Об чем крики. Об чем споры. Все дела в одно кольцо своди: Бей буржуев. Бей, душа с них вон. Все наше. Голова мы. Когти мы. Беломордые? Што нам беломордые. Сила наша. Всех потопчем. Всех порвем... Простонародная революция. Плач и стенанье. Песни и слезы. Навстречу под Тоннельной два эшелона попались. Урезный фронтовик. Кровь родная. Стогне Днипр, стогне широкый. И все одного направления: ж а б н у т ь. Все машут винтовками и страшными голосами эрзерумских высот гукают

Долой Хвилимонова
Рви кадетню
Поиздили попили. Теперичко мы поиздимо Товарищи
Крой
Капиталу нет пощады
Долой.

А Хвилимонов главковерх царизма по-на-Кубани. В чине свахи гад ползучий: войсковой казачий круг с Радой спаривал. Но мы раз и навсегда против всей этой лавочки. И бои кругом рикотят: под Тихорецкой, Невинкой... Скрозь бои по всей Тамани, по всей Кубани, аж до самого Терека. Диствительно долой генерала Покровского: дюже вредный генерал для крестьянского народонаселения. Ду ду. Фюьюрр
Березай... Вылезай
Новороссейкый город. Станция Новороссейская. Где комендант? Аах, братишка. Сурьезные дела. Фронтовики не подкачают. В один мент обделают дела в лучшем виде. Эх ваша благородия держис ни валис. Фронтовик он... Где комендант под девято ево ребро

Есть
Здрастуйте
Ваш мандат?
Налицо.

Правильный мандат. Станичник Авдоким Гулько, как делегат за оружием. А комендант чучара развалился в мяхкой кресле и языком ледве-ледве

Ни от меня зависит
Як так?
Так
Да як же так?
Эдак
Да який же ты и комендант ко ли оружие немае? А ежели экстренное нападение контры?
Ни от меня зависит.
Га, чортов сынок

Плюнул делегат через коменданта на стенку. Давай в город срываться. Ч и С о в е т р а б о ч и х с о л д а т с к и х. Чи Ревком. На лестницах народ. В залах народ. Руки ни пробьешь. С Черноморья мужики. Молдаване с Джубги, Дефановки, Сапсульской. Матросики шныряют туда-сюда: где бы горилочки похрамчить. Тут же неизвестный солдат серебряны тарелки продает. Потолкался потолкался Авдоким — ходов ни найти и пронял его такой-то ли апетит, такой апетит... Примостился на по- доконнике. Хлеба отломил и токо-токо за сало... Глядь — дорогой товарищ Васька Галаган
Каже, здорово голубок
Та неужно ж ты живый остався?
Ээ меня ни берет ни дробь ни пуля
Ах... мать.
рад я ужасно...
Вышел экстренный разговор. Смеется Васька откровенный друг. Подманил товарищей и давай рассказывать как с Авдокимом в трубе ночевали, как вдвоем по телеграфу город кавказский взяли. Смеются матросы — щикатурка с потолка сыпится, советские шпалеры вянут стружкой по стенам завиваются. А в совет здешний всякая сволота понабилась. И большевики и меньшевики и кадеты и эстервы. Оружия тебе солдат не достать
Як так?
Да так
Да як же так?
Да эдак.
Ни по назначению попал
И— эх сердцу стало прискорбно. Уцепил Авдоким Ваську за рукав давай молить-просить

Васек товарищ подчердечный. За что мы
скомлели, терхались? Долой золотую шкуру.
И зачем нам кисла меньшевицка власть?
В контрах вся Кубань — тридцать тысяч казаков.
Што тут делать? И как тут быть?
Успокой ты свое солдатское
сердце Христаради
Будь уверен
Оружья мы
тебе достанем
Слово одно
Действительно долой кислу
меньшевицку власт.
А совет?.. Совет схи
будь здоров — погремушка
Вся власть в
наших руках
Хоромы, дворцы и так и далее
Обрадовался Авдоким. Так-то ли обрадовался — сало и хлеб на подоконнике забыл. Табуном притопали в гостиницу Россия. Картинки, диваны эти самые и занавески чистый шелк. Барахла понавалено барахла. Сюда повернется — чемодан, туда — узел двоим не поднять. Расстегнули бутылочку, другую. Вспомнили с Васькой как на ахтомобили мимо дороги чесали — выпили. Про трубу вспомнили — еще выпили. За поповский сапог снова выпили. И опосля того вывел Васька гостечка дорогого через стеклянную дверь на тераску. Вывел да и показывает

Вон немцы в Крыму.
Вон Украина страна
хлебородная.
Всю ее покорили стервозы
А
флот наш сюда отсунули
Немцы?
Немцы,
Авдоша, немцы хлесть иху мать. Шлем
блем даешь флот по Брест-Литовскому.
Шалишь. Распустили мы дымок — сюда
уплитовали. Выпьем вино до последнего
ведра — дальше поедем, разгромим все
берега и с четью умрем
Зачем умирать? Умереть не хитро. Жить надо да радоваться.
Погляди што кругом робится...
Я?Мы?
Никогда сроду. Все прошли с боем,
с огнем. Гайдамаков били. Раду били.
Под Белградом Корнила шарахнули.
С Калединым цапались. С татарами
в Крыму дрались. Офицеров топили
в пучине морской. Раз офицер — фактически контрик
Бей стычка.
Бей с навесу.
Бей наотмашь.
Хрули гадов. Ни давай курвам пощады ни
на... волос
Справедливо дядя. Полный оборот
саботажа. Весь путь под саботажем. Мок-
роусовский отряд. Наш отряд. Черный
флот. И кругом теперь судовые комитеты,
Наша бражка. Чумазая, нечесаная. Дни
и ночи у нас собранья и митинги, митинги и собранья. На дню вытылкиваем
по тыще резолюций: к л я н е м с я, к л я н е м с я и к л я н е м с я — **БЕЙ** контру.
Баста...
Правильно, от Новороссийского море начинается. Корабли гуськом. Весь Черный флот. Пушечки. Дымок. Флаги праздничные. По утрам с дредноута Воля малым током радио по всей эскадре

В
сем
всемв
семсегод
днявечеро
мвгорсадуот
крытаясценана
вольномвоздухек
онцертмитингшампа
нскоебалдоутравходс
вободныйвоенморыпригла
шаютсябезисключениядаз
дравствуетдаздравствуетдо
лойдолойдолойдаздравствуетсв
ободныйчерноморскийфлоттройка

Команды на берегу. Двенадцать тысяч матросов на берегу. Сколько это шуму. Гостиницы и дома буржуйские ломятся. Чи Совет? Чи Ревком? Хоромы дворцы и так далее. Лучше об нем и не говорить и слов не тратить. Даешь шампанского. И кислый Совет из бездонных подвалов Абрау-Дюрсо перекачивал на корабли шампанское. В неделю по два ведра на рыло. И цена подходящая. Двенадцать рублей бутылка. Твердая цена. Хватало и водки. Николаевской белоголовой. Слезу вышибала, за сердце брала: старорежимная, злая водка. Совет чхи будь здоров — погремушка с горохом. И такое бывало. Ночью загнав всех рысаков и смеху ради перетопив лихачей в вине и керенках, подваливалась к Совету буйная ватажка, обвешанная бомбами кольтами.
Даешь авто
Тыл штатска провинция
Душу
вынем
Го го го
Даешь авто

Высунется в окошечко дежурный член в шинель одетый.

Товарищи. Я сам четыре года кровь проливал.
Сам фронтовик, но автомобилей в Совете нет.
Даю честное благородное слово — нет. Вы
как сознательные...
Ботай.
Куда подевали?
Пропили.
Немцам берегут.
Душу выдерем
Товарищи...

Из толпы для забавы стреляли. Можбыть кверху. Можбыть в члена промахивались. Ни всякый скажем понятие о прицеле имеет. Да. А член мечет:

Я ни против. Я сам фронтовик. Вместо авто
Совет выставит пятьдесят бутылок шам панс
кого
Мало
Ни заливай нам.
Тоже фронтовик? — нажевал рыло-то.
Мало
Двести

Сходились на стоне. Всяко бывало. Девочки мармуленочки до одной за моряками. Вихрем свадьбы. Сплошная гульня. Свадебные поезда кишками. Через весь город. Скрозь. Свадьбы каждый час, каждую минуту. Кругом свадьбы. Пьянка — гулянка. Дым. Ураган. Жизня на полный ход. Хриплые женишки. Невесты первый сорт — карамельки. Шафера, подруженьки, тетушки — честь честью. И кольца. Колец ураган. С пальцами нарубили у корнил — офицеров. Венчанье — лохмачи осипли. Музыка крышу рвет. Денег много. Все пляшут. Все поют. Дым в небо. Женится Васька на буржуйской дочке. Денежки всему шапка. Васька с Маргариточкой за красным столом сидят. Друг дружке эдак улыбаются. Маргариточка в форменке — женихов подарок. Куражится Васька. Уцепил ее за хребет. В мин- дальные губки целует. Вино пьет, стаканы бьет, похваляется.

Ах и веселый-жа народ матросы. Делегат за оружием Авдоким среди них ровно ржавый курган в зеленой степи. Дума грызет — и как бы оружием разжиться? Ждут станичники. Хотя какое тут оружие ежели Васька женится? Отгуляем, отпляшем и... Ржет братва. На слово ни верит.

Га га га
Го го го
Ха ха ха

Васька пузырится. Васька из двух шпаллеров на спор садит в пустые бутылки понаставленные на рояль. Бабы визжат. Братва потешается. Чечеточку, ползунка, лягушечку как тряхнет — тряхнет Васька: локти на отлет

Рви ночки
Равняй деньки

Папаша то есть буржуй ихний безусловно пляшет. На затылке смятый котелок. Глотка буржуйская — голянище разношенное. Рвет камаринского на демократических началах. Ржут матросики над буржуем, подтыривают

Нет. Спой-ка ты нам яблочку
Тряхни
брылами.
Развесели гостей
Сыпь на весь
двугривенный.
Уморушка Тятьянушка...

А матушка то есть буржуйка ихняя дышит над голубками. Пылью стелется.
Девушка она у меня деликатная, чуткая
Гимназию с золотой медалью...
Уж вы Василий Петрович ради бога будьте
с ней понежней... Она совсем, совсем ребе-
нок

Ваську от умиления слеза прошибает.
Мамаша... Да рази ж мы не понимаем?..
Да я в лепешку расшибусь

Маргариточка за роялем трень — брень. Ее восковой голосок гаснет в мутном, утробном реве

Ах ты яблочко
Д' с боку верчено

И на улице под окнами похватывают с подсвистом. Трещит выдираемая рама и в окошко рожа дико веселая
Э, да тут гулянка

Под окошками летучий митинг.

Свадьба
Ну
Залетим братва
Вались
Заходи,
братишки, заходи. Места хватит. Вина
хватит
Зачем же бить окошки?
Утром с похмельки
Ах ах
Где молодой?
Пропал молодой

Теща плачет. Маргариточка белугой ревет: охорашивает ягодки помятые. Шафера похмеляются, к подружинькам присватываются. Нут Васьки. Оказывается на фронт махнул. А можа и не на фронт. Вечером будто видали Ваську: в гортеатре зеркала бил. А завтра слышишь будто влюбилась в него артиска. Зафаловал Васька артиску французскую. Раз — раз, по рукам и в баню. Лафа этому Ваське. Куражится подлец: артиска, прынцеса, баба свыше всяких прав. Пришли ребята гулять и видят артиска ни артиска, а самая заправская чеканка Клавка Бантик. Кто же ни знает Клавку Бантика? Первая стерва на всей планете. Васька начто доброго сердца и то взревел
Ах, ты кудлячко

Плеснул ей леща, другово и в расчете: безхитростный Васька человек.

* * *

Стонут качаются дома. Пляшут улицы. Прислонился ходя к России. По неизвестной причине плачет ходя разливается
Вольгуля мольгуля
Выкатились из России ребятки и навалились на ходю
Хам
Гам
Китаеза
Черепашьи яйца
Что обо-
значают твои слезы?
Вольгуля мольгуля

Моя лаботала лаботала, все денихи плолабо
тала — папилоса нет, халепа нету
Ха ха ха
Гу гу гу
Бедолага, сковырни сле-
зы — едим с нами
А — яй, чудачок, кругом слобода, а ты пла-
чешь
Едим
Моя каласо. Уф каласо

Эх развезло. Стой ни вались. В дымину пьяного делегата Авдошку в десять рук втолкнули в реквизированную архирейскую карету с проломленным боком. Ввалились Галаган, Суворов, китаеза, еще кто-то. Сорвалась пара разукрашенная лентами. И у лошадей праздник. И лошадям весело
Пошел
Качай — качай
Рви малину
Руби само-
родину

Помнил Авдоким станицу. Фронт помнил. Каурого жеребчика Сокола. А слова ровно раки пьяные расползаются
Вася, родной. Господи. Братишки. Контра.
Вся Кубань. Тридцать тысяч казаков. Вася,
можешь ты меня понять?..
Погоди и
до казаков доберемся и их на луну шпилить
будем
За что мы страдаем?
Ни раз-
страивай солдат ты своих нервов.
Всех
беломордых перебьем и
БББББББАААААААССССССТТТТТТАААААААА
останется одна
пролетария
Оружия мы тебе достанем
Дол-
жны мы погулять? Первый праздник в жиз-
ни

Буржуям такого не снилось.

Гортеатр. Гейша. Занятная штуа. Радовался китаеза ровно малый ребенок. Смеялся китаеза, в ладоши прихлопывал
Уф мая каласо
Авдоким под стульями спал. Трое в карточки перекидывались на заднем плане. А Галаган с Суворовым расставили по борту ложи бутылки. Хлебали шампанское. Гейшей интересовались. И языками причмокивали
Вот это буфера
Вот это нда
Вот бы выши-
бить пистонку
Браваааааааааааааааааа
Вахтаналия. Разбудил Васька Авдокима
Едим
Куда

За денежками на дредноут Свободная Россия. Открыл Галаган сундучок кованый. Керенки, николавски гривны, карбованцы, браслеты: все на свете. Подарил дружку бинокль Цейс на три фазы
Вот и портсигар бери. Не сомневайся —
портсигар семь каратов...
У делегата руки трясутся. Бинокль за пазуху сунул. Часы золотые утопил в кулак. Подмигнул делегат Авдошка
За два оглядка куплено?
Ни може мой.
Грабиловки ты когда и ни где на грош не
сочинили. Все у мертвых отнято. Скажи зачем
мертвому портсигар в семь каратов?
Показал бы ты Вася корабль мне.
Эка махина...
Эта можна.
Спускались в кочегарку. Васька сыпал:
У нас на миноносе Пронзительном из Кеевских-Харьковских сейфов 300 мест золота на палубе без охраны валяются. Ни кто пальцем ни трогает. А ты — грабиловка... Тут браток, особый винт упора. Понимать надо

Черно. Угарно. Топки жаром плескали. Ветрогонки ревели. Забитые угольной пылью задымленные кочегары в рукавицах, без рубашек. Бегали, мотались. Ширяли ломами. Подламывали скипевший шлак. Из угольных ям на руках чугунные кадки подтаскивали. Сопел, ревел огонь в топках. Угольные лампочки тухли. Авдоким утерся
Даже жарко

Васька близко припадая к нему кричал
Это что. Два котла пущены. Это что. Вот когда все десять заведем. УУУУУУ жара 80. Ветрогонки
стара система — тяга слабая. Жара 80. Да ведь надо ни сидеть платочком обмахиваться. Надо работать без отверту, без разгибу. Ни пот — кровь гонит с тебя...
Жизня горьки слезы
Эх
в ,..... мать пять годиков я тут так
отчубучил. Теперь свет увидал. Али и теперь
ни погулять? Первый праздник в жизни. Едим

Прыгнули в ялик. В город поцарапали. Город в огнях, в музыке. Кафе, рестораны все за матросами. Черно от матросов. Пьяно.
льно. Пляско. Сплошной праздник.

Штатским вход воспрещен

Горсад. Куплетисты. Цыганы. И кругом дешевка. В десятером, скажем, за тысячу всю ночь гуляй с девочками, с музыкой, с вином. Не любил Васька деньги перещитывать. А денег этих самых у него с полпуда. Пропивай — не пропьешь. Гуляй — ни прогуляешь.
Эээх братишки в .....
Нонче гу-
ляй — завтра фронт.
Пей, все равно флот
пропал
Кто там бузит?
Бей буржуев — деньги надо
На верх вы товарищи все по
местам...
Надоела вся борьба. Домой...
Ни хочешь ли на мой?
Врагу не сдаетца
наш гордый Варяг... Пощады ни кто ни
жалаааааает

Братишки, в .....
..... мать...

Сцена. Вальсняшка. Яблочко. Танец. Две киски. Дамочки мамочки бирюзовы васильки. Цыганка Аза в рот тебя в глаза. Рви рр рр рр ночки. Равняй деньки. Руби малину. Ни хочешь ли чаю с черной смородиной? Цыганка Аза в переверт тебя... Хор цыганский

Где болит? Чево болит?
Голова с помхмелья
Нынче пьем, завтра пьем
Целая неделья
Иэх, давай
А ну давай
Пошевеливай давай
Иэх даю
А ну даю
Пошевеливаю
Даю
Даю
Даю
Пошевеливаю.

Наливался — наливался китаеза на голодное-то брюхо и вдруг поперло из него все обратно: мадера, шампанское и всевозможные закуски. За столом Авдоким, Васька, Ильин, Суворов, жид Абрашка-слесарь из депа, пленный мадьяр Франц. На привольном воздухе. Ээх якорь глубины морской. Авдоким целует всех под ряд, сморкается в рукав: Абрашка, дай свою черствую руку... и рассознательный жа у вас в депе пролетариат — ох... Законный пролетарьят — из рабочава строю. Глаза страшат — руки делают. Руки ни достанут — ребрами берете. Это так. Это по нашему. Шутка ли? В неделю два бронепоезда сгрохали. Под Батайском, под Кореновкой шибко они нам помогли. Вот как помогли... Вася обрати внимание — два бронепоезда... В неделю два бронепоезда.

И Васька целует Абрашку, китаезу, Авдокима, шкипера Ильина, Суворова, шестерку
Пей гуляй... Нонче наш праздник... Хозяин, даешь ужин из пятнадцати блюд. За все платим. А беломордых передушим до одного. Душа с них вон. Мы...

...На горе стоит ольха
Под горою вишня
Буржуй цыганку полюбил
Она за матроса вышла
Иэх давай
А ну давай
Пошевеливай давай
Иэх даю
А ну даю
Пошевеливаю
Даю
Даю
Даю
Пошевеливаю

Распалилось сердце Васькино. на стол влез ревом Братишки... Слушай сюда а а а...

И начался тут митинг со слезами с музыкой
Гра
Бра
Вра
Дра
Зра
С кровью
С мясом
С шерстью

И ночью же прямо из горсада на вокзал добровольческий отряд. Васьки Галагана партизанский отряд в триста голов. Ввалились к коменданту с ревом
Оружья
Вынь да выложь

С пятого пути два вагона винтовок. Один Авдокиму достался. На крыши пульмановских ставили пулеметы. Грузили мешки с рисом хлебом сахаром. Китаеза работал как черт
Садиииииись
Длянь... Длянь... Длянь... Ду ду у у. Мотай Крути Винти
Поезд мчится
Огоньки
Дальняя дорога.

«Леф № 1» (5)
1925 г.
«Версты» № 1
Париж, 1926 г.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «СТРЕЛЬЦА»

Проза: Моше Ландбург, Юрий Мамлеев, Борис Садовской
Поэзия: Дмитрий Бобышев, Юрий Колкер, Александр Фрадис
Интервью с поэтом Бахытом Кенжеевым
Беседу Михаила Геллера и Владимира Максимова о творчестве Чингиза Айтматова
Воспоминания современников о Николае Гумилеве
Очерк Дмитрия Шляпентоха
Статью Василия Бетаки
Рецензии на новые книги

КНЯГИНЯ М. К. ТЕНИШЕВА

ИЗ КНИГИ ВОСПОМИНАНИЙ

СМУТНОЕ ВРЕМЯ

Приехал к нам погостить Николай Константинович Рерих с женой, и я была им очень рада. Мы давно делали планы, как мы поедем на наши днепровские заливные луга, отстоящие всего верстах в десяти от Талашкина, куда мы всегда очень любили ездить пикником. Днепр в этом месте делает крутой поворот, образуя большую губу. С его высокого берега, частью покрытого старыми корявыми дубами, открываются здесь необозримые дали, необъятный простор. Воздух дивный, необыкновенной чистоты. Внизу чудное пространство зеленого ковра. Человеческого селения никогда не было на этих лугах. Часы, проведенные там, обыкновенно вливают в душу что-то примиряющее, здоровое и бодрящее.

Ранней весной мы ездим туда собирать крупные, пахучие ландыши, растущие в изобилии лиловые ирисы и фиалки. Летом до косьбы пестреют всевозможные полевые цветы, и нередко любуемся мы на целые выводки аистов, плавно кружащихся в голубом небе или важно разгуливающих по лугам.

Во время сенокоса приходят толпы баб из соседней деревни Немыкари, в живописных ярких костюмах, увешанные богатыми монистами, крестами, бусами и кораллами. Заднепровские деревни дольше сохранили свой наряд, и мне удавалось иногда во время наших поездок покупать у них фартуки, рубашки, старинные шейные украшения, которые они тут же охотно снимали с себя.

Все мои домашние очень любили луга, и каждая поездка была истинным удовольствием для всех. Ехали мы обыкновенно всем домом, на трех экипажах, а на тележке посылались вперед люди с самоваром и чайными принадлежностями. Нагулявшись вдоволь,мы располагались на высоком мысу над рекой, под старым развесистым дубом, и пили чай на траве, что всегда казалось особенно вкусным. Возвращались только поздно к обеду, надышавшись и точно опьянев немного от дивного воздуха.

Мы давно говорили Рериху о днепровских лугах, и он был ими очень заинтересован, особенно как художник, одаренный тайными видениями, умеющий проникать духовным взглядом в далекую старину, редкий по богатству творческой фантазии. Ему эти луга наверно рассказали бы свою древнюю сказку, а он передал бы ее в каком-нибудь вдохновенном произведении с присущим ему талантом.

Я давно знала Рериха. У меня с Николаем Константиновичем установились более чем дружеские отношения. Из всех русских художников, которых я встречала в моей жизни, кроме Врубеля, это единственный, с кем можно было говорить, понимая друг друга с полуслова, культурный, очень образованный, настоящий европеец, не узкий, не односторонний, благовоспитанный и приятный в обращении, незаменимый собеседник, широко понимающий искусство и глубоко им интересующийся. Наши отношения – это братство, сродство душ, которое я так ценю и в которое так верю. Если бы люди чаще подходили друг к другу так, как мы с ним, то много в жизни можно было бы сделать хорошего, прекрасного и честного...

Мне хотелось оказать Николаю Константиновичу такой прием в Талашкине, чтобы оно ему понравилось, чтобы он полюбил его, и тем привлечь его еще больше к нам. Из чувства эгоизма мне хотелось, чтобы ему тут было хорошо, и втайне я надеялась, что когда-нибудь он со своей семьей поселится по соседству. Мне всегда не хватало общения с человеком, живущим одними со мной художественными интересами. Кроме того, Николай Константинович страстный археолог, а я всю жизнь мечтала с кем-нибудь знающим покопаться в древних могильниках, открыть вместе страницу седого прошлого. Всякий раз, что я находила при раскопках какой-нибудь предмет, говорящий о жизни давно исчезнувших людей, неизъяснимое чувство охватывало меня. Воображение уносило меня туда, куда только один Николай Константинович умел смотреть и увлекать меня за собой, воплощая в форму и образы те давно прошедшие времена, о которых многие смутно подозревают, но не умеют передать во всей полноте. Я зову его Баяном, и это прозвище к нему подходит. Он один дает нам картины того, чего мы не можем восстановить в своем воображении...

В день приезда Елена Ивановна Рерих, утомленная дорогой, ушла к себе в десять часов, а мы с Николаем Константиновичем сидели на балконе, выходящем в сад, в дружной беседе. Но мало-помалу разговор наш стал падать, мы сделались рассеянными, наблюдая за небом, которое вдруг, несмотря на поздний час, стало светлеть, становиться все алее и принимать красноватый оттенок. Я заметила, что освещение идет из-за дома, и обеспокоенная поднялась с кресла, говоря: «Не пожар ли это?» И как бы в ответ послышались крики: «Пожар!», забили в набат все талашинские колокола в разных местах, забили в гонг, которым нас обыкновенно сзывают к столу... Мы бросились в залу, которая выходила на другой балкон во дворе, и в окна увидали

все деревья и здания усадьбы резкими черными силуэтами на фоне огромного яркого зарева. Мы выскочили на улицу, весь дом поднялся в смятении, все бросились бежать, крича друг другу: «Где пожар? Что горит?»

Дом опустел в один миг, но я не потерялась. Переловив всех собак, заперла в своей комнате, чтобы их в суматохе не передавили, и потом побежала на пожар. В первую минуту я ужаснулась, горело в стороне конского завода. Мысль, что, может быть, уже горят наши бедные лошади, до того взволновала меня, что я в уме решила, хоть с опасностью для жизни, выносить жеребят. Пробегая мимо кучерской, я столкнулась с нашим кучером, англичанином Холлем, и мы продолжали идти рядом, ослепленные пламенем.

Холль – прекрасный слуга, исполнявший свои обязанности с редкой добросовестностью, преданный человек, страстно любящий лошадей. При мысли, что горит конский завод, он страшно испугался и впопыхах надел лосины, в которых он едва двигался. Мы с полуслова поняли друг друга и, задыхаясь, бросились на зарево. Видя, что я шатаюсь и по близорукости спотыкаюсь о камни, он сперва поддержал меня слегка, но я ухватилась за его руку, и мы торжественно под руку прибыли на пожар, точно с прогулки мирная парочка, что потом нам показалось комичным. Так, даже в самые драматические моменты нередко проскальзывают смешные черточки.

Холль так разволновался и пришел в такой гнев, что на следующий день слег в постель, с ним чуть не сделался удар. К счастью, однако, горел не конский завод, а два близ него стоящих сенных сарая, накануне набитые свежим сеном. Чтобы у нас не было никакого сомнения в наличности злого умысла, подожгли оба сарая одновременно. Они отстояли довольно далеко один от другого и были разделены глубоким, заросшим травой рвом. Это был несомненный поджог. Тушить сено невозможно, и потому мы предоставили сараям догорать и все свои силы направили только на охрану конского завода, самого близкого строения к огню.

Елене Ивановне так и не удалось хорошенько отдохнуть. Она еще не ложилась, как поднялся шум и суматоха, и она снова вышла к нам. Мы все были так взволнованы, что почти до рассвета не расходились. Досадно было, что день приезда моих друзей омрачился такой крупной неприятностью.

Странное совпадение. Пожар случился в день выселения Трубникова, заставившего меня, своим вызывающим поведением и отказом уехать добровольно, прибегнуть к помощи полиции. Все учителя были страшно возмущены способом его удаления, но я действовала по убеждению, зная, что это вредный человек. Настроение вообще у всех было дурное. Даже никто из крестьян не пришел на пожар, а те немногие, которые явились, больше из молодежи, стояли вокруг пожарища с замкнутыми, равнодушными лицами, тупо глядя на огонь, не принимая никакого участия и не помогая.

Конечно, явилась немедленно полиция производить дознание. Стали разыскивать поджигателей. Найдены были какие-то следы под мостом, лесничий в вечер пожара встретил каких-то двух людей, бросившихся от него со всех ног, – из этих мелких признаков надо было выделить какие-нибудь осязательные данные, чтобы раскрыть все. Но это было не так легко. Поджоги в то время случались чуть не ежедневно и во многих имениях по нескольку раз. Мы переживали страшное время. Каждый вечер, сидя на балконе, мы замечали зарево то с одной, то с другой стороны, то в двух местах сразу. У нашего ближайшего священника, отца Владимира Дьяконова, преподавателя Фленовской школы, за одно лето было четыре пожара, один за другим. Его жгли систематически, настойчиво выживая из наших мест. Кому-то он очень мешал.

Отец Владимир был тип мягкого, скромного, тихого священника, глубоко верующего. Он говорил просто, но хорошо, и имел на свою паству и школьных учеников прекрасное влияние. Вероятно, это влияние шло вразрез с тем настроением, которое искусственно прививалось во Фленове, и отца Владимира нужно было во что бы то ни стало удалить. Его и стали жечь. Сперва глубокой ночью сгорел дом – о. Владимир переехал с семьей в ригу; но среди белого дня загорается рига, – семья переезжает в баню; через несколько дней ночью загорается баня, и они едва успевают выскочить сами и спасти детей. Когда же они переехали в сарай, то вспыхнул и сарай, и таким образом они остались без крова, в одном платье. Матушка, перепуганная насмерть, бежала в Смоленск с детьми, заявив о. Владимиру, что ни за что не вернется обратно. Ему пришлось ликвидировать все дела и просить о переводе, но так как он не мог уехать тотчас, мы предложили ему приют во Фленове. Он согласился на это со страхом, боясь навлечь на нас пожары. Все население фленовское бежало от него, как от чумы, и никто не хотел спать с ним под одной крышей. Но мы приняли его и всячески успокаивали его, обещая самый тщательный надзор за домом, где он жил. Когда он пришел к нам после четвертого пожара, на него было жалко смотреть. Он был нравственно убит, вид у него был ужасный, исхудалый, и руки нервно тряслись... Не легко ему было пережить столько потрясений...

Потом ему дали место в тюремной церкви в Смоленске. Там он сумел себя очень хорошо поставить. Говорят, арестанты и даже самые опасные преступники подпускали его к себе, некоторые стали охотнее ходить в церковь и на исповедь. Я отношусь с величайшим уважением к нему и, насколько можно в наше время говорить о святости, применяю это слово к таким людям, как о. Владимир. Но таких священников очень мало. Я больше не встречала в деревне таких, а следовало бы, чтобы их было побольше. Может быть, многое в эти смутные годы повернулось бы иначе на Руси...

Дня за два до пожара у нас появился странный тип. К нам приехал представиться известный в губернии сыщик Ц., разговорчивый, хитрый и очень бывалый человек. С первого же знакомства он очень нас развлек своими рассказами из своей богатой приключениями карьеры, о раскрытых им преступлениях, о разных бытовых сценках, виденных им по глухим деревням, о крестьянских обычаях и нравах. Уезжая, он забросил фразу, которая потом вспомнилась мне: «Пожалуйста, если я только понадоблюсь вам, я тут, как тут». Вскоре произошел пожар, начались поиски поджигателей, но дело не продвигалось вперед. Подозрения падали на многих, но ничего определенного не было. Наш становой пристав принимал значительный вид, делал нам страшные

глаза, говорил таинственным шепотом, но никаких результатов мы не видали, и дело, казалось, должно было уже заглохнуть за неимением прямых улик. Как вдруг в Талашкино, командированный губернатором, явился Ц., якобы для следствия по этому делу. Он поселился у нас и сделался нашим постоянным гостем. Он бродил по соседним деревням, куда-то исчезал, за кем-то следил, посещал ближайшие пивные и винные лавки, все уже и уже стягивая кольцо своих наблюдений, с приемами настоящего Шерлока Холмса. За это время жизнь в Талашкине приняла совсем необычный характер.

История с поджогом взволновала все умы и отняла у нас покой, а после того, как я в саду подняла угрожающее письмо, настроение сделалось еще тяжелее. В письме было сказано: «Вас хотят убить за то, что добром, что делаете, мешаете смутчикам мужиков мутить». Написано было на обрывке бумаги, грубым безграмотным почерком. Это письмо мы нашли утром около балкона, гуляя как-то с Л. Сосновской в саду. Оно было совсем мокрое от утренней росы и уже наполовину стерто, так как было написано плохим карандашом на лоскутке скверной бумаги.

Я не бумажки испугалась, я верю, что мой час настанет, когда это будет указано свыше, но окружающих это сильно напугало, и с того дня жизнь моя приняла совершенно особый характер. Я перестала куда-либо ходить одна. В Смоленск стала ездить тоже в сопровождении кого-нибудь. В Талашкине завелись ружья, револьверы, вокруг дома поставили яркие спиртовые фонари, и в усадьбе стали ложиться не раньше четырех часов, когда уже рассветет и пробудится деловая жизнь в экономии.

Мысли и чувства мои были очень странные... Я чувствовала, что что-то уходит из рук, ускользает помимо моей воли и мало-помалу вырывается из сердца самое дорогое, близкое. Отрава влилась в душу, голова была пуста...

Ц. между тем действовал, перенося свои подозрения с одного на другого, и, наконец, остановился на одном молодом человеке И-ве, бывшем моем ученике, проживавшем хозяином у себя на земле. Он обратил на себя внимание тем, что водил постоянно компанию с разными подозрительными людьми, с которыми его часто видели вместе. Между этими последними были также мои прежние ученики, покинувшие школу и перешедшие в разные другие сельскохозяйственные училища, в том числе и наш маслодел Богданов, окончивший у меня и посланный мной для усовершенствования в Вологодскую молочную школу Буман, откуда он и поступил к нам на службу, да еще два-три конторщика, тоже из бывших моих учеников, и какой-то крестьянин соседней волости, известный своей смелостью и уже несколько раз посидевший в тюрьме за поджоги.

Не спросясь меня, Ц. арестовал подозреваемого им молодого человека и не нашел ничего лучшего, как посадить его под арест в нашем флигеле, рядом с занимаемой им комнатой, вместе с урядником. И вот начались ежедневные допросы, подстерегания малейшего шага или слова этого человека, подлавливание его в разговорах. Действия окружавших его знакомых тоже не упускались из вида. Раз было замечено, что один из наших конторщиков, бывших его приятелей, подошел к окну флигеля и стал делать какие-то знаки. Стали следить и за этим конторщиком.

У нас у всех было такое состояние, как будто покойник в доме. Мне очень все это не нравилось, и я об этом говорила Ц., но он умолял не мешать ему, грозя мне опасными для меня последствиями и настаивая, что я рискую, может быть, жизнью, если не дам ему довести дело до конца.

На беду, в это время присутствовал наш постоянный пианист А. Д. Медем, человек, кажется, равнодушный к переживаниям и неудачам других. У него появился возмущенный вид, дававший понять, что это варварство и произвол – задерживают невинного человека, допрашивают, не имея на то никакого права, берут на себя какие-то полицейские обязанности, допуская держать арестованного человека во флигеле. О музыке, о прежних дружеских беседах и отношениях не было и помину...

Как и во время войны, вечера в зале были заняты чтением газет, наполненных теперь известиями о поджогах, грабежах, убийствах, разорении культурных гнезд и имений. Бессонные тревожные ночи, поздние сидения, сон урывками, а днем постоянное сознание, что около вас живет человек, может быть невинный, а может быть и поджигатель, – все это страшно издергало мои нервы, измучило душу. Я исстрадалась, извелась до того, что мне хотелось, чтобы случилось что-нибудь ужасное, что покончило бы со всеми этими мучениями и развязало бы нам руки. Я говорила: «Мне до того душно, что я сама подожгу дом, чтобы все было сметено сразу...» Было непереносимо сидеть и ждать, что завтра, может быть, сожгут еще что-нибудь, и так без конца...

Раза два я входила к нашему узнику, надеясь, что он мне скажет правду. Я напоминала ему годы детства, наши хорошие отношения, мою к нему ласку и заботы, прося его сознаться и обещая выпустить его, лишь бы только не подозревать невинных. Но каждый раз он уверял меня, что он невинен, благодарил за принесенную пользу, и я уходила от него, ничего не добившись.

Неизвестность, напряженное настроение дома, замешанная прислуга – все это вместе до того измучило меня, что несколько дней спустя я потребовала от Ц., чтобы он или выпустил на свободу человека или увез его в тюрьму, но дольше держать его у себя я не хотела. Все во мне было возмущено. Ц. очень на меня рассердился, сказав, что я препятствую не только успеху дела, но и становлюсь поперек его карьеры, т. к. ему всегда удавалось раскрывать такие запутанные дела, что он раз даже ухитрился раскрыть преступление, совершенное много лет назад, и привести подозреваемое лицо к полному сознанию. Но мне не было дела до его славы и репутации, я больше не могла выносить этого положения и, войдя в комнату к узнику, открыла дверь и сказала, что если у него и есть на совести что-нибудь, то пусть идет с миром домой. Перед уходом он написал мне письмо, в котором благодарил за доброе отношение к нему.

Ц., несмотря на эту неудачу, не угомонился и продолжал тайно расследовать это дело. По мере добываемых улик приходил ко мне с требованиями уволить то одного, то другого из служащих, которых набралось таким образом очень много. Он говорил мне, что они ненадежны, сильно замешаны в этом деле, не перестают сноситься с подозрительными людьми и что если я оставлю их, то он не ручается ни за что. Он открыл, будто бы, какие-то романические отношения

между нашей экономкой, некоторыми девушками и молодыми людьми из подозрительной компании и был очень настойчив.

Я была просто в отчаянии. У нас люди живут, обыкновенно, подолгу, были прослужившие по двадцать, тридцать лет, и отказать одному из таких старожилов из-за одного подозрения было несправедливо. Дело же было осенью, а к зиме всякий рабочий и служащий больше дорожит местом, старается удержаться или пристроиться получше, а тут вдруг, без всякого предупреждения, человека увольняют, – это было бы очень обидно. Некоторых служащих мы с Киту положительно отстаивали грудью, что страшно сердило Ц. Других же пришлось отослать, потому что Ц. категорически заявил, что он ни за что не отвечает, если они останутся в усадьбе, и что может произойти что-нибудь гораздо худшее. Так пришлось отослать сторожа, женатого на девушке, родившейся и выросшей в Талашкине, безропотной молодой женщине, с кучей детей, часто терпевшей побои от мужа. Им я не дорожила, но Дуню нам было жаль. Уход каждого служащего мучил меня точно совершенное преступление. Уволенных Ц. заменял своими. Казалось, как будто мы сами находимся под подозрением и наблюдением. День за днем отношения наши с Ц. обострялись, и, не скрывая уже, при многих служащих, я говорила о своем душевном настроении...

Вдруг я получаю письмо от моего бывшего маслодела, уволенного по настоянию Ц., того самого, которого он подозревал в соучастии с арестованным. В этом письме было: «Ваше сиятельство. Мне неотложно нужно с вами переговорить. Я в настоящую минуту нахожусь в конторе. Прошу Вас, вызовите меня к себе для разговора сердитым голосом по телефону. Прошу Вас быть одной». Я недоумевала. В чем дело? Что за таинственность? Посоветовавшись с Киту и близкими, я решила принять маслодела и выслушать его. Все советовали не оставаться одной, и потому, когда его провели в мой кабинет, Л. Сосновская и Лидин поместились рядом, у двери в спальне, готовые ежеминутно войти ко мне, если бы этот человек обнаружил какой-нибудь злой умысел.

Наш маслодел был очень красивым молодым человеком, кровь с молоком, среднего роста, очень начитанный, способный юноша. Он вошел довольно смущенный, бережно закрыл дверь за собой. Оглядевшись кругом, не видя никого, кроме меня, он скоро оправился. Я спросила, что ему от меня нужно. Он сказал, что слышал, как меня мучит отсылка многих невинных людей из Талашкина, и, желая прекратить гонения, пришел спросить меня, что я сделаю тому человеку, который поджег. Я ответила:

– Даю вам слово, что я ничего ему не сделаю, пусть это останется на его совести... Вы знаете, что последнее время я жила, исключительно желая быть полезной моим окружающим. Если в деревне была нужда, если падала лошадь или корова у мужика, я сейчас шла навстречу, никогда не отказывая в помощи. Цель моей школы вы отлично знаете, вам знакомы отчеты школы и вы не раз слыхали от меня, что в Талашкине все без исключения я по духовному завещанию оставляю в пользу Фленовской школы. Для чего же был этот поджог? Запугать меня? – конечно, не разорить, потому что вы сами понимаете, что для человека состоятельного потеря двух сараев с сеном не есть разорение... Напугать? Оттолкнуть от дела, заставить бросить его?.. Несмотря на слова Трубникова, говорившего, что я «не имею права» закрыть школу, я в своем праве закрыть ее в каждый момент, потому что она содержится на мой счет и условие с Министерством в силе только до тех пор, пока я вынимаю деньги из своего кармана. Чего же достигнут, если я закрою ее? Какую пользу принесет это окружающему населению? Я уеду заграницу и буду жить там для себя, все же заработки, которые имеют окружающие крестьяне, прекратятся с моим отъездом...

– Да, ваше сиятельство, это верно и это очень жаль, что так случилось. Но вы должны дать мне слово, что тот человек, который сделал это, ничего от вас не потерпит...

– Я вам уже дала слово. Кто же он? И-в?

– Да...

– А вы его сообщник?

– Да...

– За что же? Зачем?

– Это было сделано «пренцэпэально».

– Мне очень больно слышать, что поджог у меня сделан рукой одного из моих учеников, одного из тех, о которых я заботилась и болела душой, как о родных... Это рана, которая никогда не заживет... Я этого не заслужила... Но я вас благодарю, что вы сняли у меня камень с души и дали возможность прекратить преследование ни в чем не повинных людей, которое страшно тяготило меня. Теперь, по крайней мере, я избавлена от излишних подозрений... А вы подумайте, что вы сделали. Вы поступили дурно против меня, а больше всего против своих же братьев-крестьян. Подумайте хорошенько об этом, и вы со временем, может быть, пожалеете... Прощайте.

Когда Ц. узнал, что со мной говорил маслодел, он страшно заинтересовался и стал домогаться, чтобы я все ему рассказала, но я передала ему только часть разговора и не назвала имени поджигателя. Впрочем, даже если бы я и не дала слово, то все-таки не выдала бы его, потому что слишком сильно чувствовала нравственную связь с каждым из своих учеников и никогда бы не была в состоянии поднять руку на бывшего своего питомца. Пусть сама судьба вызовет его еще на какое-нибудь дурное дело и покарает, но я этой роли на себя не возьму...

Ц. уехал от нас весьма недовольный результатом дела. Немного погодя, когда я была в Смоленске по делам музея, ко мне пришел судебный следователь для допроса по поводу поджога. Это был молодой человек с сильным «либеральным» оттенком, который ловко меня допрашивал, стараясь в разговоре заставить меня проронить что-нибудь уличающее. В конце разговора я должна была подписать, что никого не подозреваю и назвать не могу. А в соседней комнате сидел Ц. и сильно волновался, ожидая, что я проговорюсь, может быть, этому господину, и он таким образом узнает правду. На этом дело о поджоге у нас и кончилось.

Настала глубокая осень, и в Талашкине все опустело, друзья и гости разъехались. Но мне надо было еще довести школьный сезон до конца, назначить акт, выдать аттестаты окончившим, а также и тем, кто оставался для прохождения специальных классов – это давало льготу по воинской

повинности. Как ни трудно было вести школу в это время, но мне все-таки хотелось дать этим людям кусок хлеба, чтобы затраченные труды их и годы учения не пропали даром. Между тем, работы исполнялись учениками хуже, чем возможно себе вообразить. Для уборки небольших фленовских полей пришлось в первый раз взять наемных рабочих и с ними закончить все то, с чем обыкновенно ученики очень легко справлялись.

На акт во Фленово я не поехала. Во-первых, я сердилась на школу, на преподавателей, а во-вторых, я так страдала, так близко принимала все, так была измучена, что вероятно нервы мои не выдержали бы, я расплакалась бы там при всех и тем была бы только смешна людям, у которых не было ни сострадания ко мне, ни сожаления о том дорогом деле, которому я себя посвятила и которое они губили.

И хорошо сделала, что не поехала. Предчувствие меня не обмануло, меня ожидала большая неприятность. На этом акте произошел еще один случай, глубоко оскорбивший меня. Когда Затворницкий передал аттестат Кириллу Васильеву, одному из тех учеников, которые были на плохом счету у губернатора и полиции и за которых я несколько раз ездила в город хлопотать и отстаивать, просить, чтобы не губили юношей и дали бы им возможность только окончить школу, – он, вместо благодарности за эту последнюю попытку дать им выход, открыть перед ними дорогу, в присутствии всех схватил аттестат, разорвал его на куски, бросил на пол и сказал: «Вот вам аттестат...»

Этот удар был последней каплей, переполнившей чашу моего терпения. После акта я закрыла школу. Подождала, чтобы законопатили церковь и закрыли ее на зиму, отпустила всех мастеров и столяров, закрыла мастерские и стала готовиться к отъезду. Я чувствовала, что в Талашкине мне делать больше нечего, и каждый день, проведенный в этом запустении, в этом вдруг замолкшем улье, который иначе и представить себе нельзя было, как кипящим жизнью и деятельностью, только еще больше растравлял меня... С тех пор Талашкино мне постыло, сердце оторвалось от него.

За последнее время в моих мастерских царил разлад. Из-за малейшего пустяка рабочие возмущались, выражали недовольство, происходили какие-то объяснения, целой гурьбой уходили, чтобы отстоять одного, снова возвращались, но становились на работу неохотно. Работа не клеилась, стоило только отвернуться, как все бросают работу, о чем-то кучкой разговаривают. Я видела – дело валилось из рук.

В рукодельной обстояло не лучше. Крестьянки перестали приходить за работой, с трудом сдавали старую, вышивали неряшливо. Иные приходили точно тайком, какие-то запуганные, ничего от них добиться было нельзя. Но стороной мы слыхали, что в некоторых деревнях, как например в Гевине, творится неладное. Не только мужики, бабы, но и малые ребята повыбрасывали вон из избы иконы, орут какие-то песни, а тех, кто не подражает этому, всячески терроризируют. Пришлось прекратить работу и здесь. Привели все в порядок, уложили в ящики законченные работы и закрыли мастерскую совсем. Было не до работ...

Нет сомнения, что это была стихийная буря, пролетевшая над Россией, что многое свершилось под ее влиянием, что много людей было захвачено ею даже против воли, но все же я скажу, что моя школа разрушилась от преступного и безнравственного отношения учителей... Потом стало известно, что они всей душой были в движении – у нас выписывались огромные тюки прокламаций и раздавались ученикам...

Преступники, преступники... Слепые, бессовестные люди... Это те, которые ратуют за народ, кричат о благе народа – и разрушают с легким сердцем то немногое, те редкие очаги культуры, которые создаются единичными тяжелыми усилиями отдельных лиц. Разрушают то, что было сделано для этого народа с любовью, инициативой и большими денежными затратами. Сами-то они что могут дать народу? Да и любят ли они его действительно? Не есть ли это просто желание показать себя, играть какую-то роль? И вот берутся учить тому, чего они сами еще хорошо не понимают, до чего сами еще не доразвились. Завтра человек захочет стать химиком – он им не будет, не будет он им и через месяц, год, два, нужно работать много лет. Политика – та же наука. Она требует зрелого, развитого и подготовленного ума, огромной начитанности, разностороннего образования. У нас же в России почему-то думают, что политикой могут заниматься поголовно все, начиная с гимназистов, школьных учителей и учеников сельскохозяйственных школ, головы которых забиты брошюрами и политическими программами... Разрушить легче, чем создать, а потому отношение учителей к созданному культурному очагу было преступно. Они навеки будут проклинаемы мной...

Я поняла, что у нас преподавателями в большинстве делаются люди не потому, что это их призвание, что это дело им нравится, манит эта деятельность, а просто потому, что они неудачники. Они пробуют силы то на одном, то на другом, и когда ничто не удается, с горя идут в учителя, тем более, что это дает льготу по отбыванию военной службы, – надо же как-нибудь пристроиться, но не для того, чтобы своим трудом внести немного света в жизнь народа.

Перед закрытием школы я как-то указала им, что учительская библиотека завалена журналами по всем отраслям педагогики, сельского хозяйства, литературы и наук, но ни один из них даже не разрезан... Языком, видно, болтать гораздо легче, чем делать ежедневно серьезное дело. Они даже ничего не читали, не следили за успехами своего дела, не старались образовываться. И эта кучка невежественных и бессовестных людей разрушила гнездо, где из народа, за который они, будто бы, так ратовали, создавались люди.

Нет, пока не будет в России учителей по призванию, до тех пор в России школы не будет. Двум богам служить нельзя, и напрасно эти господа, не видящие дальше своего носа, думают, что, действуя против существующего порядка, они этим что-нибудь создадут. Никогда. Создали бы, может быть,но только тогда, когда бы сами сделались настоящими людьми с вкоренившимся чувством долга, с честным отношением к делу, с честными намерениями. Но, к сожалению, честь – понятие недоступное для многих и не приобретается ни в какой школе...

⁂

В Талашкине мне больше нечего делать. Мы пере-

ехали в Смоленск и собираемся отправиться заграницу. По вечерам – газеты, газеты, газеты... Мы просто слепли от них.

Началась железнодорожная забастовка. Долго не было ни почты, ни телеграмм. Мы чувствовали себя оторванными от всего мира, одинокими, заброшенными, а со всех сторон приходили вести одна хуже другой. Люди на полдороге останавливались, задерживались на станциях, в незнакомых городах, где застала их забастовка, и никто не мог сказать, долго ли им придется так просидеть. Станции были переполнены пассажирами, и положение людей, ехавших налегке, было поистине ужасным: без денег, без провизии. Некоторые наши знакомые, соседи из ближайших станций, доехавши до Смоленска, должны были на несколько дней застрять здесь. Князь В. Н. Оболенский, приехавший с соседней станции, передавал нам разговор с одним железнодорожным служащим. На вопрос его: «Почему дальше не едем?» – получил ответ: «Начальство приказало остановиться, телеграмма есть». Он не поверил и попросил показать телеграмму. Из нее нельзя было понять, откуда идет это распоряжение.

Состояние духа у всех было пришибленное, тяжелое недоумение мучило всех. Что же дальше будет? В Смоленске полная растерянность. Никто ничего не знал. Говорили, что в случае возникновения каких-нибудь беспорядков нет достаточно войска, чтобы, если понадобится, силой поддержать порядок, потому что два полка вызваны в Москву, остальные части охраняют правительственные места и казенные учреждения, продовольственные склады и арсенал. Говорили, что запасы провизии в военных складах на исходе, а по случаю забастовки нельзя ничего повезти, грозит недостаток провианта для солдат. По городу разъезжали патрули. На Блоне и в других местах собирались сходки, говорились какие-то речи, шумели, потом расходились толпами. Появились какие-то типы в черных рубашках, с дубинками, с длинными волосами, которые разгуливали с дерзким, вызывающим видом. Банды в несколько таких человек, среди которых преобладала еврейская молодежь обоего пола, врывались в магазины, в присутственные места и делали попытки срывать занятия и торговлю. Кое-где их слушались, во многих же других местах, как например в казенной палате, в жирардовском магазине и других, они получили такой энергичный отпор, что пришлось кубарем катиться с лестницы и спасаться бегством. Наш самый крупный магазин колониальных товаров Ланина демонстративно закрылся на несколько дней, что не помешало ему, однако, сперва распродать двойной запас товаров с большой прибылью, так как во всех домах торопливо делались запасы, ведь грозили, что закроют все магазины, электричество, воду. Мы тоже накупили свечей, провизии, налили воды в ванны и во все резервуары. В прокламациях, которые распространялись повсюду, нам грозили еще худшим. Из Петербурга не было никаких вестей, приходили только стороной зловещие слухи о том, что делается там. Эти несколько дней не было никаких известий ниоткуда, показались нам бесконечными. Мы не спали спокойно ни одной ночи. Из деревни приезжали и рассказывали о пожарах и грабежах. Мы дрожали и за Талашкино, и за музей, который я только что кончила устраивать. Уже были развешены все предметы, расставлены в витринах, музей наконец принимал свой настоящий вид. В это время по городу распространился слух, что на Ярцевской бумагопрядильной фабрике Хлудова взбунтовались рабочие и идут всей толпой, в шесть тысяч человек, на Смоленск грабить и бесчинствовать, разбивать казенные лавки. Тут же был пущен другой слух, что из тюрьмы бежали арестанты, чтобы присоединиться к рабочим. Все это оказалось потом сплошным вымыслом, но, очевидно, в программу революционеров входило производить панику. Нам в то время все это показалось весьма правдоподобным, так как беспорядки происходили тогда повсюду, погромы и грабежи были обычным явлением. В Ярцеве громить было нечего, это — крошечное местечко, слишком тесное для русского разгула, но после того, как была опустошена винная лавка, пройти в таком возбуждении шестьдесят-семьдесят верст рабочим было бы не трудно, имея такую приманку, как смоленские магазины и винные склады. К счастью, это был только слух, но в ту минуту он поразил нас всех, как громом. Я в отчаянии бросилась к столу и написала нашему губернатору, прося его дать охрану для музея.

Я столько сил, труда положила на этот музей, перенесла ради него столько борьбы, принесла ему столько жертв! Это действительно было всецело создание моих рук, и я любила это дело тем больше, чем с большим трудом удалось осуществить эту мечту... В музее я знала каждую вещь, и каждая имела свою историю, ведь большинство из этих вещей лишь после долгих поисков, трудов и усилий перешло в мои руки. Я не могла нарадоваться, налюбоваться моим музеем теперь,в готовом и устроенном виде. Все эти вещи много лет лежали у меня по кладовым, сараям, темным шкафам и чуланам, и вот, наконец, они увидели свет, собрались все вместе в специально для них созданном помещении. Мы с Барщевским работали, не покладая рук, с раннего утра до темноты. Все витрины наполнены, все предметы поставлены так, чтобы каждый из них был в подходящей для него обстановке...

Меня брал ужас при мысли, что толпа хулиганов набросится на музей, в окна полетят камни, витрины и хрупкие вещи разлетятся в куски, толпа ворвется внутрь и начнет ломать, рубить иконы, уничтожать все то, что я годами с такой любовью собирала... Войска из Смоленска были отозваны в Москву, а единственный городовой, стоявший около Молоховских ворот, после убийства городового на Козловской горе, был переведен в тот участок. Случись что-нибудь около нас, мы были бы беззащитны, место было глухое и пустынное. Я с волнением ждала какого-нибудь ободряющего слова от губернатора, но вместо этого получила удивительный ответ: «Многоуважаемая Княгиня, я ни за что не ручаюсь и все может случиться». У меня так и опустились руки...

Я отлично понимаю, что если бы пришла шеститысячная толпа громить город, то губернатор один, почти без войска, ничего не мог сделать. Но одно его успокоительное, обнадеживающее слово в такой тревожный момент было его обязанностью, его долгом. Это придало бы всем нам бодрости, и мы с большей твердостью пережили бы эти тяжелые дни. Его ответ дал простор самым ужасным тревогам. Мы после этого положительно потеряли голову. Чего

же еще было ждать? Чтобы пришли и перебили всех нас? Ждать, чтобы на глазах разгромили все? Если губернатор ни за что не ручается и ничего не знает, то на что же надеяться? Откуда ждать помощи? Я стала думать о том, как бы увезти куда-нибудь музей в безопасное место. Мы начали строить всевозможные планы, предположения, но именно в это время разразилась железнодорожная забастовка, и движение остановилось. Последняя надежда рухнула.

Потянулись дни, казавшиеся годами. Наконец, когда, переволновавшись и измучившись, мы уже стали терять надежду на то, что когда-нибудь кончится это положение, мы получили из Петербурга телеграмму, что есть надежда на скорый отход поезда заграницу и что наш поверенный, заручившись для нас билетами, едет к нам в Смоленск с тем, чтобы проводить нас до границы.

Собравшись налегке, неуверенные в том, доедем ли мы до границы, мы двинулись в путь: я, Киту, ее мать кн. Е. И. Суворова, Лидин, две горничные, Булька, все с крошечным багажом. Запершись в купе, я горько плакала, прощаясь с Россией, не зная, увижу ли я ее снова... Позади осталось все, что я любила, вся моя работа, все, чем жила и с чем думала дожить до последнего часа своей жизни, чему хотела послужить до конца... Позади одни сожаления, разбитые надежды, страх и чувство горькой обиды... Впереди – туман, неизвестность... Точно жизнь кончилась, и не за что было уцепиться самой маленькой надежде...

Издательство «Третья волна» предлагает новую книгу

Роман,

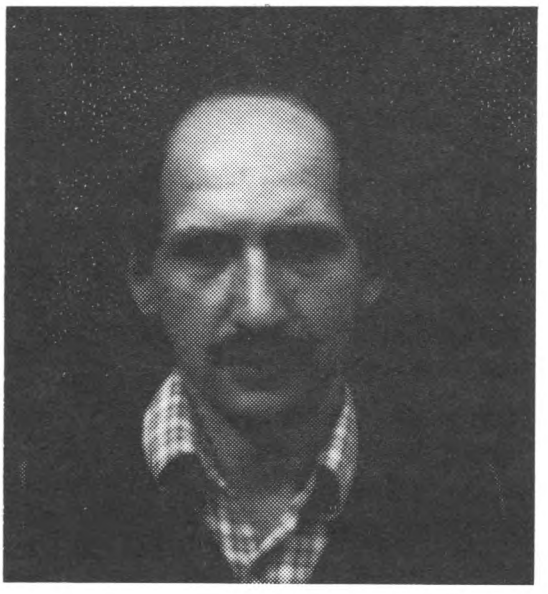
повести

и рассказы — $12



Заказы и чеки направляйте по адресу:

Alexander Glezer
286 Barrow Strett
Jersey City, N.J. 07302



владимир меламедов

НЕУКЛЮЖИЕ АНГЕЛЫ

«Монпарнас, да не про нас»
Инородная мудрость.

«Цитирую по памяти...»
Традиционное оправдание собственной лени.

Приношу свои глубокие извинения авторам за самовольное использование выдержек из их стихов, а также за возможные неточности. Цитирую я действительно по памяти.

По свидетельству одного именитого прозаика, Монпарнас находился в Москве, в Мыльном переулке. Я никогда не был в означенном переулке и не знаю даже, есть ли такой вообще. Но однажды я чуть не познакомился с человеком по фамилии Мыльников. Человек, правда, не переулок, но я не познакомился даже с человеком.

Зеркала на потолочке и вьющиеся перила. Ароматный, почти не разбавленный кофе и бутерброды с колбасой за 2.20. Какие женщины на нас бросают оценивающие взоры! Глядя на такие зеркала, видишь окружающих какими-то неуклюжими ангелами: они витают где-то наверху, но, не имея крепких крыльев, попросту ходят на головах в своем поднебесье.

«Я притворяюсь распиленной женщиной».

Притворщик был юн и строен. Горящие, черные глаза. Волосы того же цвета. Талант.

«Я изнасиловал кухарку».

Дамы насторожились.

«Я изнасиловал отца» —

уже через строку.

Дальше — хуже. Притворщик не нарушал уголовного кодекса, но было уже поздно. Преступление было необходимо. И преступлением пахло во всех уголках Дома Творческой Молодежи при ЦК ВЛКСМ. И преступление было.

Первым на зов откликнулся Александр Еременко. Его «Старая дева» заканчивалась на вполне хулиганской интонации:

«...Но если страна позовет,
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет,
Врага интеллектом раздавит,*
За плугом пойдет в борозде... —
И северный ветер рыдает
В косматой ее бороде.»

А народ кричал: «Еще! еще!...» Встала Татьяна Щербина:

«Я, Александр Сергеич, Вам гожусь
В праправнучки! но гены бродят, суки —
И в эту полночь мне не снесть разлуки.
Я к Вам пишу и я на Вас сержусь:
Вы сочиняли Гимн. Какая гнусь!
И как у Вас не отвалились руки!»

«Поэт и верблюд» — называлось стихотворение Григория Каковкина. Происхождение поэта — наука туманная. Чарльз Дарвин, о котором нам говорилось в школе, обошел этот щекотливый вопрос. Только Кедрин внес ясность:

«У поэтов есть такой обычай —
В круг сойдясь, оплевывать друг друга»

Со старомодных времен Дмитрия Кедрина изменилось немногое. Был бы только круг.

А если человек написал стихотворение на всем знакомом языке эсперанто? А он прочтет шедевр, сообщив предварительно, что текст стихотворения осмыслен. Вы будете наслаждаться чудесными звуками вроде «улюлю», «ыблхы»... Но всегда найдется молодой нахал, который скажет: «У меня на кухне кран протекает — так очень похоже». Найдется всегда и достойный комментатор: «Это потому, что в доме мужчины нет». Очень нужно покрасоваться. Необходимо!
«Я добрый, красивый, хороший» —
пишет Еременко,

«Я мог бы работать министром:
Я делать умею аборт...»

* Здесь и далее строчки, помеченные звездочкой, авторам не принадлежат. Я заменил ими забытые строки, стараясь придерживаться авторской манеры.

или

«Я мастер по ремонту крокодилов.
Окончил соответствующий ВУЗ.
Я б поступил в МИМО, но я боюсь,
Что в рифму не берут дебилов.»

Занятно, что при слове «дебил», чрезвычайно любимом Александром Еременко, публика радостно хохочет. Наверное каждый считает себя именно не дебилом. А может, просто детская радость от неожиданно услышанного предметного слова в немного удаленном строе понятий, таких как крокодил, ВУЗ, МИМО, фирма... Так или иначе, но при всем уважении к названному автору, игра на этом слове представляется мне бесстыдной. Не знаю, как уживается остроумие строки

«Проходит девочка дебильная»

с элементарным понятием вкуса, столь необходимого большому поэту. А задатки такового — творческая фантазия, чувство слова, музыкальность, остроумие (не всегда дурное) — у автора безусловно имеются. Перелистываю рукописи в голове. Нахожу:

«Кали Юга — это центрифуга.
Для того, чтоб с круга сойти,
Мы должны держаться друг за друга...»

«С круга не сойти» — вот, оказывается, в чем главная задача! С эстрадного, разумеется.

Андрей Вознесенский, с которого — я уверен — начинался Еременко, тоже всегда красовался. Однако, не припомню у Вознесенского подобных вкусовых провалов. Разве только «Поэма «Лед-69», где провал был тематический, за что ему, кстати, и досталось изрядно. Безвкусица же Еременко родственна, по-моему, распространившимся за последнее время садистскими куплетиками типа

«Мальчик в сарае нашел огнемет.
Больше в деревне никто не живет.»

Но не может же поэт следовать за модой! Ведь он должен СОЗДАВАТЬ моду! А не можешь — извини. Мои претензии не по адресу.

Кто бывал в Москве или хотя бы читал о ней — знает: ее стиль в разстильности. От барокко до Московского Университета. От Есенина до Пастернака. От Арбата до Калининского проспекта. Все рядом. Но как под одной крышей оказались Еременко и Парщиков? Парщиков, Жданов, Седакова, Гуголев, Шатуновский... Но при чем тут Еременко? Или потому, что «мы должны держаться друг за друга»? На совместных выступлениях Еременко и Парщикова первому кричат «Браво!», второму — «Графоман!». Парщиков кланяется и начинает читать. Раскосые передние зубы, несколько виноватое выражение лица. Он берет на себя вину за жестокость слушателей, не читавших с листа его произведений. Он поддерживает друга, который бессовестно крадет у него лавры поэта.

«Кто пришел, кто шагнул на застывший шар, ничего
не создав, не переиначив?
Мы меняем дары на три бутерброда горячих.
Мешок на полу, как поваленный бюст, похожий на петуха,
на тебя, на меня,
Мешок шевелится и хочет отгадчика лик перенять.
Дети стоят. Их мускулы напряжены, их уши в очечных лужках.
Из мешка вываливаются игрушки.» —

заканчивается первая часть «Новогодних строчек». Попробуйте воспринять такое на слух! Я бы не отважился, хотя очень люблю эту поэму. «Мешок шевелится» — уже сказка. «Из мешка вываливаются игрушки» — сказка кончилась. Усталый актер снимает грим.

Свежая, детская доброта, открытая наивность отличают стихи Алексея Парщикова. Вот, например, концовка стихотворения «Пророк II». Прямо детская считалочка:

«Исчезновение ежа — сухой выхлоп.
Кто воскрес — отряхнись! Ты весь в иглах!»

— Безличностная доброта? —
Но ненависть стихотворения «Псы»:

«...Размотает кровь. И у крови на злом поводу
Мчатся бурные тени вдоль складов.
В этом райском саду, без суда и к стыду
Блещут голые рыбы прикладов.

После залпа она распахнулась, как черный подвал.
Ее мышцы зияли, как вспышки бензиновых мышек,
И за ребра крючок поддевал,
И тащил ее в кучу таких же блаженных и рыжих.

Будет в масть тебе, сука, завидный исход!
И в звезду ее радость вживали.
Пусть пугает и ловит она небосвод,
Одичавший от боли и пыли».

Где оно, созвездие «Гончих псов»? Как оно выглядит? Подскажите, друзья-астрономы, ау-у-у...

* * *

«Кинотеатр «Баррикады».
Двадцать тридцать — пива нет.»

Я впервые посетил литературную студию. Обсуждался поэт, фамилию которого я забыл сразу. Белобрысый, с быстрыми глазами, с двумя золотыми, симметрично расположенными верхними зубами. Заяц.

Его пророк ходит по кабакам, а «церкви стороной обходит».

Его любовница расположена «между потолком и моимлбом» — и никаой пошлости...

Позднее, познакомившись с ним, понял что не заяц. Кот. Ни одной кисоньки не упустит. Писал он уже по-другому:

«...И я, как нежный завиток,
Приникну к пухленькой красотке,
Которая наискосок
Живет в соседнем околотке,

Глядит уныло через двор
На стаю влажно-бельевую...
Она квартиру на запор —
А я запоры расколдую,
Войду, представлюсь и скажу
И благородно, и степенно:
«Вы, дорогая, я гляжу,
Белье стираете отменно!».
Среди корыт и мыльных вод
Она поймет, конечно, сразу
И скажет: «Что Вы, вот уж год
Не принимала я заказы».
И сизари пойдут урчать
На подоконнике с кормушкой.
И необъятная кровать
Моей украсится подушкой».

Была потом карикатура: в одной руке отмычка, в другой — подушка, за спиной — простыня в виде крылышек, а из окошка кокетливо выглядывает толстушка.

Теперь Вадик Шуляковский — старый кот.

— На студию? да нет, неохота.

— На вечер? да нет, устал я сегодня.

— На день рождения? а девочки будут? а много? а красивые? да нет, я с женой на дачу уезжаю.

* * *

На улице холодина зверская, а Вадьки дома нет. У двери стоит печальный Эдик с бутылкой «кубанки». Я продемонстрировал такую же. Дальше дружба развивалась форсированно: к пяти часам утра было прочитано четыре поэмы (не считая моих), а стихов... Когда он их пишет?

«... И мне открылась Истина нагая.
Однажды я одел ее на грош,
Обул на два, поцеловал — и что ж?
Она в ту ночь три тайны мне открыла,
Как будто извлекала их из ила.
Вот первая из них: ни там, ни тут
Пути земные к Богу не ведут;
Вторая: в мире главное уменье —
Считать за правду собственное мненье;
И в третьих — чтобы я не дорожил
Тем, без чего хотя бы день прожил».

Подобный философской афористичности в поэме о любви я не ждал. Попросил прочитать еще раз.

«Взамен не обретаю ничего.
Вы помните, прекрасное созданье?
Когда б, когда б минута обладанья...
Взамен не обретаю ничего». —
начал он. Поэма на четыреста строк, раскрученная вокруг одной есенинской, была написана за два дня!

«Вы помните, Вы все, конечно, помните.
Но все же мы не в комнате, а в омуте.
Ты женщина... история темна,
Она была поэту не жена,
Она была любовницей, как будто.
(Не им одета, впрочем, и обута)...»

Брошенное в строку «впрочем» придает романтическому строю поэмы житейские интонации, а ворожба двустрочной рифмовки продолжается, продолжается, пока он не останавливает круженье:

«...Я дверь не запираю на засов,
Любимая! Вдруг Вы в нее войдете?
И пискнет мышь на самой тонкой ноте...
Дальнейшее — молчание холста.
Судьба моя перед тобой чиста.
Иное — боль. Но слово — естество.*
Взамен не обретаю ничего.»

Многочисленная живность эдиковой квартиры повылезала из нор и слушала со вниманием. А он все читал, читал...

Есть такой тип одиноких людей. Внешне они кажутся совершенно общительными, хотя на самом деле весьма скованы. Открываются они крайне редко, и если уж откроются; то начнут уделять Вам настолько особое внимание, что непременно спугнут и вновь окажутся одинокими. Среди поэтов — казалось мне — такой вариант исключен. Ведь они по- стоянно раскрываются в стихах! Теперь я знаю Эдика.

Лирический герой Булата Окуджавы — муравей.

Лирический герой Эдика Прониловера — таракан.

«...Ему б свечу, перо и книги,
Но он сгорал в ином огне,
Таская спички, как вериги,
На черной, крохотной спине.
И перепончатые крылья
В восторге к небу возносил;
И плакал про себя в бессилье,
И ахал из последних сил...
Уж сохло тело понемногу,
Уж начал он сходить с ума,
Когда ему — в угоду Богу! —
Открылась Истина сама!
И новой стратью обладая,
Он в мир подался из угла!
Когда хозяйка молодая
Его на ложках засекла.
Ленивая, в белье нательном,
Иных не ведая страстей,
Она его щелчком смертельным
Отполированных ногтей!
И вот — без слез и покаянья —
Полет в неведомую тьму.
И жизнь последнее сиянье
Дарила в форточку ему.
А в полночь тихою когортой
Его сородичи пришли
И тела мякиш распростертый
Во мрак и щели унесли.
Но где ж душа его святая?..»

Такая смерть поэта показалась мне откровением. Но что это? пророчество? что оно означает? когда оно сбудется?.. Эдик не отвечал на вопросы. Он читал уже другую поэму:

«Оглянулся Александр —
Весь расцвел, как олеандр.»

И не важно, что олеандры не расцветают, а важно, что путешествуют они по Москве на тройке: «Колька Гоголь в кучерах», «Сашка Пушкин» и сам Эдик. И только

«Скачет мука, дрыхнет муза,
Спит правление союза». —

это о ЦДЛе. И еще:

«Домик этот непростой,
В нем не каждый на постой.
Заглянем перед отъездом!
Он всего с одним подъездом
(С этой, впрочем, стороны),
А в преддверье — все равны».

Но самое хлесткое, самое точное в поэме — это диалоги:

«... — Как ты думаешь, ван Гоголь?
Ну а Гоголь весь горит:
— Чуден Днепр! — говорит.
— Чуден Днепр! — да и только.
Что с тобою, друг мой Колька?
Не температура ли?
Нелитературатурали?»

Вот так прямо: в одно слово! Даже, пожалуй, без вопросительного знака! Не удержусь здесь, чтобы не процитировать из своего:

«...Вихри стихли. Сдохла вьюга.
Прилетели утки с юга
И в утятницу легли.
В тесной кухне — сын Земли,
Музы раб, властитель лиры,
Гражданин своей квартиры,
Представитель чуждых вер —
Эдуард Прониловер.
Морщит свой билейский профиль.
Чистит гниленький картофель.
Серпантинит кожуру
В пасть помойному ведру.
Не кручинься, Эдик, милый,
Серпантинь, покуда силы —
И из гнили возрастет
Превосходный корнеплод!
В стужу, вьюгу, непогоду —
Чисти сердцевину плода,
Чтоб пророк какой-нибудь
Съел ее и вышел в путь».

В шестом часу утра, утомленные выпитым и прочитанным, мы все же разбрелись по углам. Упомянутая жизность бегала по нашим вдохновенным спящим физиономиям, не стесняясь уж вовсе. Каждому сверчку не терпелось лично притронуться!

«...И метит солнце в мой библейский профиль...»

это еще из той поэмы, о любви.

Есть в Москве район, именуемый Строгино. От других он отличается тем, что имеет чистый пляж. А еще тем, что поехать туда в гости могут отважиться разве только поэты. Вот мы и поехали.

Новая квартира Эдика сияла простотой и неубранностью. Неубран был даже заготовленный на утро эдиков завтрак. Куриные кости летели из наших поэтических уст, подобные стрелам огненным, поражая чуткую натуру хозяина навязчивой мыслью о том, что он будет есть завтра. Легион из десяти поэтов уверенно справился с поставленной задачей. На десерт были стихи:

«...Фарфоровая куколка твоя
Кивает вслед китайскою головкой,
Когда ты уезжаешь. О, когда...»

Надо сказать, что в лице у Наташи Пономаревой действительно есть что-то китайское. И дело даже не в глазах, которые и вправду чуть-чуть, незаметно раскосы. С куклой, кстати, сходство тоже имеется. В тот вечер она покинула любимого мужа ради поэтической встречи и чувствовала, видимо, вину за собой. По крайней мере улыбалась она все время. Ее полусекундные улыбки, как будто говорили в благодарность за комплименты что-то типа «Ты мой золотой». Стихи, которые она читала, нам нравились. Меня вообще поражает это благодушие поэтов к стихам своих собратьев, появлющееся в обстановке домашней. В атмосфере студии услышать доброе слово можно лишь от новичка. Собратья же проспрягают тебя по всем временам так, что даже вдохновения не останется. Но на квартире... Впрочем, стихи были и вправду интересными. Уж поверьте.

Как-то летом мы ездили к ней на дачу. Дача была еще дальше, чем Строгино. И намного. После четырехчасовой тряски — в метро, в электричке, да еще автобусом — мы, наконец, прибыли. Хозяйка дачи была мила. Ее новые переводы из Вийона заслуживали серьезного внимания. Что же касается красной смородины, которой мы обжирались в ее огороде — так это просто восторг. Но возвратимся в Строгино.

Когда раскладывались спать, мы бухнулись вместе в одну кровать, поскольку соседнюю, такую же, занял Игорь Афонин. Нет, он не гигантских размеров, но свободного уголка в кровати найти больше не удалось. Его пытались теснить, будить, даже перекладывать — все безуспешно. Нашлась, впрочем, еще раскладушка, на которую улегся я не помню с кем.

Поутру, во время такое, когда поднимаются только дворники, Наташа ушла. Кормить любимого мужа. На месте ночлега она оставила стих, посвященный хозяину:

«О ты, с кем я делила ложе...»

Подъем был, как и подобает... Всех поразил Игорь Афонин: на его костюме «тройка», которого он не снимал, не было ни единой морщинки. Тогда мы поняли: гений.

— Эй, гений, кушать хочешь?

Мы вышли с ним на улицу. Было морозно и сухо. Январское солнце показало свою розовую мордочку в брешь между постройками, сказало поэтам: «Здрасьте» — и спряталось. Возле огромной цистерны «молоко», каких москвичи уже не вспоминают, сидела женщина в невинно-белом халате и зевала.

— Мы поэты, понимаете? — упрашивал Игорь.
— А я почем знаю?
— А в этом доме еще шесть поэтов, и все голодные!
— А я почем знаю?
— Хотите, мы Вам стихи прочитаем?
— А я почем знаю?

Не помню уж как, но Игорю удалось-таки убедить хозяюшку одолжить нам ее разливной ковш на три минуты. К чести товарища скажу: в три минуты он уложился.

Незадолго до того было его обсуждение на студии. Игорь вышел, и, прежде чем читать стихи из рукописи «Тебе», предложил такую, примерно, прелюдию:

«Я сейчас, по дороге зашел пива попить. Стоят в забегаловке двое ребят и девчонка. Все трое «хорошие». Она ревет, а они все допытываются:
— Ну как он выглядел?
— Да не помню я!
— Ну в чем он хоть был одет?
— Да не помню!
— Ну, напрягись, дура!»

Далее следовали стихи:

«Цветные банки из-под шампуня
Говорят о присутствии женщины в доме.
Шампунь израсходовали в июне.
Коробку я выбросил в межсезонье,
Чтобы не было к прошлому тяги,*
Чтобы не вспомнилось вдруг по дороге...*
И не нашлось у меня бумаги,
Чтобы на ней подвести итоги.»

Что поразительно — рифма «в доме — в межсезонье» не режет слуха. Наверное, это и есть признак настоящей поэзии.

Читал он много. Подборка была неровной и непричесанной. В одном стихотворении встретилось матерное слово — и звучало оно грубо. Были здесь верлибры и ямбы, старые стихи и новые, а под конец Игорь прочел «Ночного таксиста»:

«За смерть, которой не миновать;
За жизнь, которая не миновала;
За то, что всего мне этого мало,
Можно две жизни другие отдать.
И этот дождями исхлестанный мир
Ослеп, словно слепок с дождливого мира!*
В столице полночь. — «— Садись, командир!
Свезу за пятак до зимней квартиры,
Где шторы взбираются под потолок;
Где свет с потолка оседает на шторах;
Где сушится «ява», как сушится порох,
И время задумчиво взводит курок.»
ВРЕМЯ: «Ну что же ты медлишь, сынок?».

Это стихотворение, пожалуй, наиболее характерно для Игоря. Это его любимый дробленый стих, работа на минимуме средств (слова регулярно повторяются, но в ином уже смысле) и даже провал третьей и четвертой строк, сшибающий напряжение, достигнутое первыми двумя. Не помню, кто и где говорил, что Игорь пишет стихи не для публикации — и поэтому расхлябан в своей работе. Расхлябан он и в жизни. Несмотря на костюм «тройка».

Когда-то Игорь написал стихотворение о патефонной пластинке:

«Не спится юному ковбою.
Разлука с милой парня мучит.
Не уходи, побудь со мною,
Целуй меня, о бесса ме мучо!
. . . . . .
Ты говоришь — я повторяю;
Я говорю — ты повторяешь;
Пространство глухо повторяет:
Не спится юному ковбою!
Целуй меня, о бесса ме муччо!..»

На дне рождения у Юного Ковбоя собралось порядочно народу. Пили «мастику», запивали «фантой». Коктейль назывался «фантастика». Зелье более противное придумать, конечно же можно, однако в реальной жизни встретишь редко. Встал Женя Бунимович. Говорил пятнадцать минут. Не сказал ничего. Выпили.

Умение Бунимовича говорить ничего было нам знакомо. Злые языки прозвали его даже Нибенимевич. Однако, в стихах он говорить умеет. Почему же, все-таки, он считает своим долгом подниматься и произносить? Может, потому что он мэтр? И тон у него соответствует. И борода. У Гоголя где-то было: «верноподданические бакенбарды». Это про Женю сказано. Про его бороду. А может, и про его стихи о Чили тоже. Гоголь ведь мастер был.

Расскажу тут одну сплетенку об одном, довольно интересном, на мой взгляд, поэте, участнике войны. Конечно, сплетни — это некрасиво, но, как говорится, за что купил — за то продал. Плюс комиссионные. Так вот, в ЦДЛе, кажется, кто-то из молодых, да нервных заметил ветерану в споре:
— Да вы сами-то что пишете?
— Ну, положим, что я пишу — ответил фронтовик, попыхтев, — вы не знаете. Вы знаете, что я публикую.

Возвращаясь к Бунимовичу, не хочу подражать его многословию и приведу только начала двух его стихотворений. Первое — из цикла «Контрольные работы».

«Падают доски. Идет общешкольный ремонт
Он затянулся, как подобает ремонту.»

и другое:

«Относительно крыши — чего нет, того нет.
Относительно славы — см. «относительно крыши».
Общежитье актеров. Чебутыкин пошел в туалет...»

* * *

А Волгина я встретил в Коктебели. Он меня не узнал, конечно, по причине лета, однако, на мое приветствие ответил достойным кивком и поинтересовался, не знаю ли я, где тут вино в разлив продают. Блондинка, с которой он шел в обнимку, была вида вполне коктебельского. Это его сильно моло- дило. Я указал винную точку. Блондинка против вина возражений не имела.

Двумя днями позже я снова видел его на пляже. Опять с блондинкой. С другой, правда. Ох уж эта вечная путаница

лиц! Рассеянность, забывчивость... Руководитель студии. Достойнейший муж.

* * *

Перед обсуждением ко мне подошел молодой человек и, злодейски исказившись, задал вопрос: «будешь ругать?»

«Каковкина — ругать, Горячеву — хвалить», — ответил я, не замечая угрозы.

«Тогда ладно», — ответил злоумышленник.

Обсуждались два поэта, похожих друг на друга, точно близнецы. Только рожденные в разных галактиках.

Первым выступил Каковкин:

«Я влюблен в объем корыта» —

вещала его строка. Обериу и красивые аллитерации. Метафоры одна другой краше. Не хватало только... стихов. Его хвалили.

В противоположность ему, Лена Горячева не предложила ни одной аллитерации. Метафоры были бедны, а обериу... Но зато:

«Когда я стану королевой —
А быть мне ею непременно —
То первым же своим указом
Сама себя пошлю на плаху,
Чтоб голове моей проклятой
Палач отвел в корзине место.
И лишь тогда смогу свободно
Я отдохнуть душой и телом.
А быть мне королевой точно.»

Ругали, конечно же, черно. Не помог и «Рассказ коммуниста Горячевой, о том как она целовалась перед райкомом партии»:

«И случись, приятели,
Что без вас осталась.
Перед райкомом партии,
На церковной паперти
С Ваней целовалась.
Ваня-Ваня-Ванечка,
Подполковник Чайкин,
Ты не слушай, Ванечка,
Наши бабьи байки!
Все мы, Ваня, замужем;
Развелись к тому же.
Всем нам, всем нам, Ванечка,
С каждым мужем хуже...»

При этом она смотрела на единственное сочувствующее ей здесь лицо, которое уже сменило злодейскую гримасу на выражение вполне человеческое — и читала дальше:

«Все друг другу нравятся,
Все друг друга хвалят...
Одна я — каракатица —
Того гляди раздавят.
Ваня-Ваня-Ванечка...»

Позднее я пытался дознаться у нее, уж не о студии ли это четверостишие?

— Нет, — отвечала коммунистка.

В общей перепалке студийного обсуждения Волгин подбросил провокационный вопрос: почему они решили обсуждаться вместе? Версий было много — одна другой глупее.

— Одна я боялась, — призналась мне потом Лена — заклюют ведь.

И заклевали-таки. И выпала из обсуждения ее «Игра в карты по-тридцатилетнему»:

«Не играй в дурака,
Не бери короля
Благородной, седеющей масти.
Где-то там, к сорока
Разыграешь в ролях
Драму жизни из бед и несчастий...»

* * *

Длинноногий-длиннорукий-лопоухий-и-нахальный.

Когда я вспоминаю его, вижу, как он левой рукой чешет правое ухо. Локоть при этом находится за затылком. Никогда не наблюдал его в такой позе, но таков Вова Вещевайлов.

Пятнадцать лет — МИФИ. Был отличником, связался с поэтами, был выгнан за хроническую неуспеваемость.

Поступил на Геофак МГУ. Был отличником, связался с поэтами, был выгнан за пьянство.

Попал в армию, был отличником службы, был выгнан без комментариев. Должно быть, связался с поэтами. Дур- ная компания.

Уехал домой, в Новочеркасск.

«Я разломил Новочеркасск...»

— Новочеркасск? что-то знакомое...Я знаю, что там живет Вова Вещевайлов.
И еще там есть церковь Святого Ильи:

«Я говорил ему: «Илья»,

И он ответствовал мне: «Ао-ова-а...»

Глухо. И эхо, как в церкви.

Помню, был сценарий. Шестое действие состояло из слов:

«Чума гуляла по Парижу».

Роль чумы предназначалась для Аллы Пугачевой. Остальные роли были расписаны еще менее реально, но сценарий был. Все равно был.

Как-то Игорь Афонин ездил в командировку в Донецк. Сидит он в номере гостиничном, да мнет газетку несвежую. А тут звонок:

— Игорь, здравствуй, это Вова Вещевайлов. Я тут к тебе зайти хочу.

Как выяснилось впоследствии, он не звонил Игорю ни домой, ни на работу. А просто ему встретиться захотелось. Вот он и приехал. В Донецк.

«В моей подворотне воняет мочой и сивухой.»

Вот так-то может Вова начать стихотворение!
А может написать одностишие:

«Я зеркало твое переплыву»;

может написать поэму «Полтава» потому что у Пушкина война — как парад, а может — стихотворение «Телеграмма»:

«Воскрес
целую
тчк»;

может бросить:

«Кто-то сказал: «Наша жизнь — простыня, да кровать».
Я в это не верю Я ему никогда не поверю.»

а может...
Может, может, может, может...
— Где это, Новочеркасск?
— Это там, где Вова живет

* * *

Было самое худшее оппонентство в моей жизни. А тут еще Волгин встрял:
— Ну, Люба, берегитесь!
Я встал и не сказал ни одного дурного слова. Ребята опешили.

«Не дом, а убежище.
Два метра — стена.
И бритвою режущей
Висит тишина...»

За подобные неточности я бы любого зарезал без всякой бритвы и повесил тихого и всепринимающего на растерзание друзей. Это только Цветаева так умела — лупить по контексту катастрофическими неточностями. Наотмашь! Извини, Люба, еще ты, конечно же.

«Наша кровь не упала на камни булыжные улиц»

Из-за этой строчки я сцепился с Игорем Афониным: он предложил заменить «камень булыжный» простым булыжником. Не слушай его, Люба. Он хороший поэт, но ничего не понимает!
Когда она возвращалась с Памира, смуглощекая, накатавшись на горных лыжах, и выплескивала нам свои новые стихи, читая их увереным, чут-чуть металлическим голосом — ей пелись дифирамбы. И это на литературной-то студии! Люба мало обращает внимания на хвала или хулу. Она прочитала.

«Как жилка на твоей щеке,
Всю ночь пульсирует столица»

Редко встретишь в любовной лирике такую честность и чистоту взгляда. А тут...

«Я снова лезу вон из кожи,
Стараюсь стать тебе нужней,*
Прости за то, что я моложе
На много лет, на много дней.
Прости, что ты теряешь силы,
Как маг, былое теребя;*
Что я встречаю лишь могилы
Друзей, оставивших тебя;
Что очень многие охочи
Пробыть со мной до темноты...
Прости за то, что жесточе
И неуемнее, чем ты,
Что мне наказано заглазно
Иначе чувствовать и жить.
Прости за то, что я напрасно
Собою продолжаю быть.»

Я вижу сейчас, как она сотрясает книгой одного московского автора, которого и графоманом-то назвать чересчур почетно: «Ну что печатают! В одной нашей студии два десятка поэтов давно заслуживают публикации, а не пробиться!»
«Закончишь Журфак, станешь редактором, будешь таких же печатать» — сыронизировал я. Люба посмотрела на меня, как на врага. Ничего не сказала.

«Дунул ветер холодный с востока.
Растревожился лес, зашатался —
И один лишь на ветке высокой
Лист последний качаться остался.
Он увидел своими глазами
В налетевшем осеннем крапу,*
Как его золотыми друзьями
Устелили сырую тропу.
И не жалко уже расставанье!
И с ветвями разорвана связь,
Чтобы в небо скользнуть — на прощанье —
И к земле, остывая, припасть.»

Это стихотворение я как раз видел в печати. Без второй строфы, правда. Невинный такой пейзажик получился.
А вот уже концовка совсем другого стихотворения:

«...В постелях корчатся от боли,
От ненависти, от любви...
И как раздавленные стоны —*
Назад, сквозь яркий свет огней
Уходят черные вагоны
Закрытых наглухо ночей.»

Здесь в тексте слово «любовь» — а значит, не о любви.

«Но в темноте свои законы» —

брошено где-то в начале стихотворения.
— Ты помнишь ее романс «А сердце уж скорбит».
— Такие стихи не запоминаются, — отвечает брат, — они завораживают.
Вот и я не помню.
Когда я позвонил попрощаться, она с первой фразы заметила:
— У тебя голос такой, будто уезжаешь куда. Чуть ли не на Дальний Восток.

— Намного дальше.
— Как это.

Потом, после получасовой встречи, прыгнув в такси, видел: она как стояла — так и смотрела. Даже рукой не махнула.

В одном из нецентральных районов Москвы живет Люба Берзина. С большими щеками!

* * *

И опять я был оппонентом. Маленькая, страшненькая, в очках, по виду закомплексованная — и тихий такой голосок. Это Оля Петрова. Стихи были на историческую тематику и мне нравилось, если историческое событие бывало мне знакомо. Когда же нет — стихотворение проваливалось куда-то. Должно быть, в века. Бывали, впрочем, переходы на персонажей Шекспира. Но и здесь было не легче. В стихотворении «Макбет» она писала про макдуфову жену — и я ничего не понял. Когда дошло до меня, я так и признался: — Не знаю, говорю, я истории. И книжек никогда не читал. А друзья сказали, что книги — это интересно. А особенно стихи. Вот я и взял посмотреть. На первой странице — что-то из испанских войн; на второй — макдуфова жена; на третьей... А четвертую я и смотреть не стал. А вообще, если в качестве предисловия поставить несколько томов общей истории, плюс драматические произведения Шекспира — хорошие стихи, наверное, окажутся. Друзья же не обманут? Только книга уж больно толстая получится.

Кто-то из эрудитов заметил в прениях: «Если я чего-то не читал — то это мой недостаток, а не стихотворения.» Тут и Волгин вступил со своим любимым примером:

«Когда свободный электрон
Влетает в синхроциклотрон...»

А «Макбета» я перечитал-таки, пристыженный. Не помню только, кто такая эта макдуфова жена. Ну да и Бог с ней. Одно стихотворение — «Старинный фарфоровый сервиз» — мне и вправду понравилось. Запомнил я, как всегда, только концовку:

«Вот паж. Он залит лунным светом.
Он подает цветы маркизе.
Но не на этом, не на этом,
А на совсем другом сервизе.»

А потом было лето и все поразъехались.

«МИФИ, МГУ, подмосковкая служба — по слухам... —
Изгнанник извечный, он скачет с межи на межу.
В его подворотне воняет мочой и сивухой.
Последнее время я часто туда прихожу.
Там Марк бородатый мудреной метафорой пишет,
А друг-Бунимович вздыхает: «Вот мы, старики...» —
И нам предлагает смотреть относительно крыши,
Но крыша летает с Валериной легкой строки!
А рядом парит одноклассница Бывшего Панка,
До звезд изгибая прозрачное тело свое.
И Волгин кряхтит! И пыхтит, молодея осанкой,
А Гринин тюльпан, ускоряясь, уносит ее!
Распиленный Юлик, на женщину чем-то похожий,
Булавкой английской зашпилил в сердцах небосвод;
Прекрасная Дама, делившая с Эдиком ложе,
Прекрасной хозяйкою стала и в гости зовет.
А Эдик не ходит, не ходит, не ходит, не ходит...
Как жизни, боясь полированных женских ногтей.
И чудный, как Днепр при изысканно-тихой погоде,
На кухне корпит над тетрадью дрожащей своей.
Там есть и знаток эсперанто, и гость из Вероны...
Заморского слова адепты и русской души —
Шутя они вешают на уши нам макароны,
Считая, что это куда эстетичней лапши.
Там можно историка встретить и пыл свой растратить,
Прочесть каламбур в кулуарах... Не вершишь? — проверь!
Там Игорь растекся по красным пространствам кровати!
И Вадька с подушкой мещанскою ломится в дверь!
Противные рожи! Родные, бесценные люди!
Дыханьем единым, всей сотней своих языков
Воскликнем: «Да будем!», стаканы поднимем: «Да будем!»...
И ныне, и присно, и долгие веки веков.»

Жданов, Жданов, почему Вы не пишете о Жданове?

Отвечаю многоуважаемым дамам: не пишу, потому что не знаком. Даже не видел его ни разу в глаза. Что же касается его манеры стихосложения, то его циклы метафор, почему-то называемые стихотворными, мне всегда хочется вернуть к первозданному виду — к отдельным метафорам. Или, скажем, переставить строфы местами... поле для деятельности велико! А вообще, я скорее соглашусь с авторами миниатюр: они честнее. Например, Иван Ахметьев:

«Вот и пой свою серую песню»

В этом, по крайней мере, нет насильственного составления. Близки мне и верлибры Миши Файнермана:

«Высоко в небе парит стриж.
Больше моего дома?
Меньше моего дома?»

или

«Несколько кофейных зерен.
Утро.
Кофейное зерно.»

впрочем, это уже японская школа.

«Осторожно, двери закрываются» — поет московское метро. Закрываются студии. Открываются кружки. Закрываются кружки. Открываются квартиры. Закрываются квартиры. Открывается Дом Творческой Молодежи при ЦК ВЛКСМ. Здесь, «под крылом комсомола», устроители вечера раздали, однажды, присутствующим по букве из родного алфавита и предложили конкурс афоризмов. Была и тема: счастье. Обладательница буквы «З» вместе с Игорем Афониным, буквы которого я не помню, даже показали ее афоризм: изобразив статую «Рабочий и колхозница», при замене Серпа и Молота вилкой и ножом, они громко продекламировали: «Здесь, а не там!». Таковым было их общее мнение относительно счастья.



михаил шемякин

ЧРЕВО ПАРИЖА

В указах русского царя Петра Первого есть такое выражение «лишить живота», которое означало применить смертную казнь — лишить жизни. В бывшей языческой России, которая относительно поздно приняла Христианство, живот являлся символом жизни, символом плодородия. В давние времена, когда человечество не было насквозь пропитано ложью и фальшью, люди непредвзято и благоговейно относились ко всем органам тела, включая и нижележащие живота.

Один из гигантов мировой литературы, монах-писатель Франсуа Рабле, в своих бессмертных творениях *Гаргантюа и Пантагрюэль*, отбросив маску лицемерия, вдохновенно описывает и рассуждает об испражнениях, о естественных человеческих отправлениях, создавая как бы гротескный, но в своем роде уникальный и неповторимый гимн человеческому телу и его органам.

В старое время, когда человеческое сознание не было замутнено еще философией мещанской морали, человек чувствовал себя единым с Творцом и с космосом. Он не отворачивался от ужасов смерти. Понятия жизни и смерти были связаны у него воедино, и любой крестьянин, в своем мудром взгляде на проявления Бога вокруг него и в нем самом, мог «дать фору» любому современному болтуну с кафедры философии.

Безумные празднества, сопровождающиеся пьяной обжираловкой, сменялись мрачнейшими погребальными процессиями, оглашаемыми воплями кающихся. Люди веселились на свадьбах и на рождествах для того, чтобы зачастую, из-за эпидемий и неумения бороться с болезнями, хоронить на следующий день своих близких. Смерть и жизнь шагали в ногу с людьми, и люди любили это и воспринимали как нечто естественное.

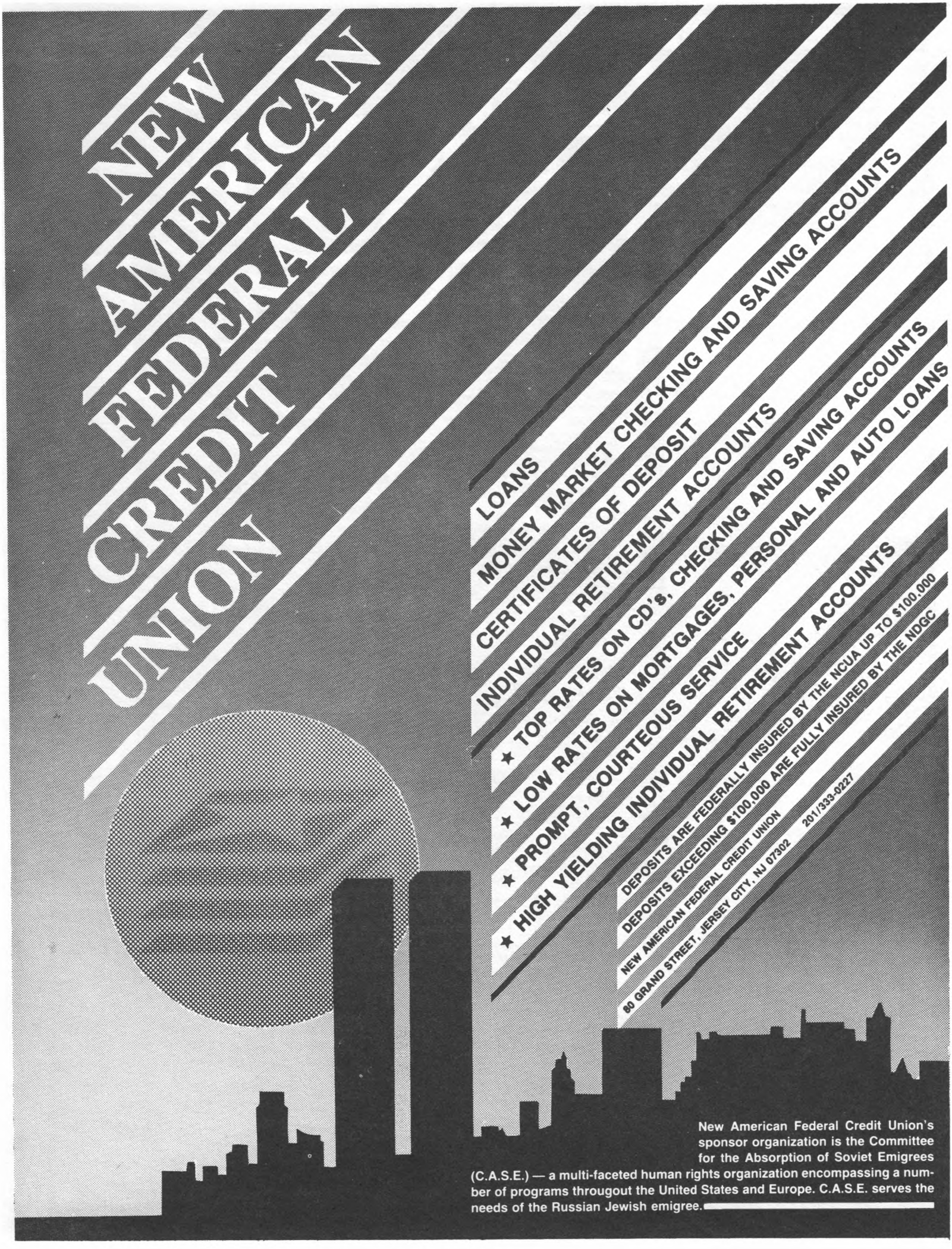
Один из продолжателей доброй французской традиции в литературе, бытописатель страстей человеческих Эмиль Золя, в романе *Чрево Парижа*, как бы воскрешает Раблезианские моменты в описании средоточия жизни Парижа, знаменитого Ле Аля. Ле Аль сосредоточил в себе все. Здесь была кровь, здесь переливались всеми цветами радуги овощи, фрукты, окровавленные туши, шкуры дичи, и пестрело оперение фазанов, уток, гусей и лебедей. Громадные тушеподобные мясники носились по Чреву, взвалив на себя многопудовые мясные глыбы. Светились огнями ночные рестораны типа «Поросячих ножек», в которых праздные гуляки и любители ночной жизни предавались священному делу Гаргантюа для того, чтобы наполнить и развеселить свое чрево, бродить по Ле Алю, и глазеть на эти ожившие фламандские картины Снайдерса, повествующие о торжестве жизни над смертью. На улицах слонялись здоровенные проститутки, поджидающие когда тушеноши, относившие свои кровавые грузы, опрокинув последний стаканчик аперитива, прихватят их в грошовый номер отеля, чтобы вкусить неких благ и от другого мяса. Тут же крутились стаями нищие — «клошары» — которым бросались ошметки со стола этой громадной кухни, именуемой «Чрево Парижа».

К шести часам утра, отдавши дань Бахусу и изобильным столам ресторанов, праздные гуляки — среди которых можно было увидеть и черные цилиндры аристократов и стройные фигурки дорогостоящих парижанок — направлялись к воротам «Мезон дэ ля Сантэ», знаменитой французской тюрьмы. В шесть утра ворота открывались тюремной стражей и публика, вдоволь наглядевшаяся крови четырехногих животных, могла насладиться зрелищем крови двуногих, ибо в шесть часов утра гильотинировали преступников, приговоренных к смертной казни.

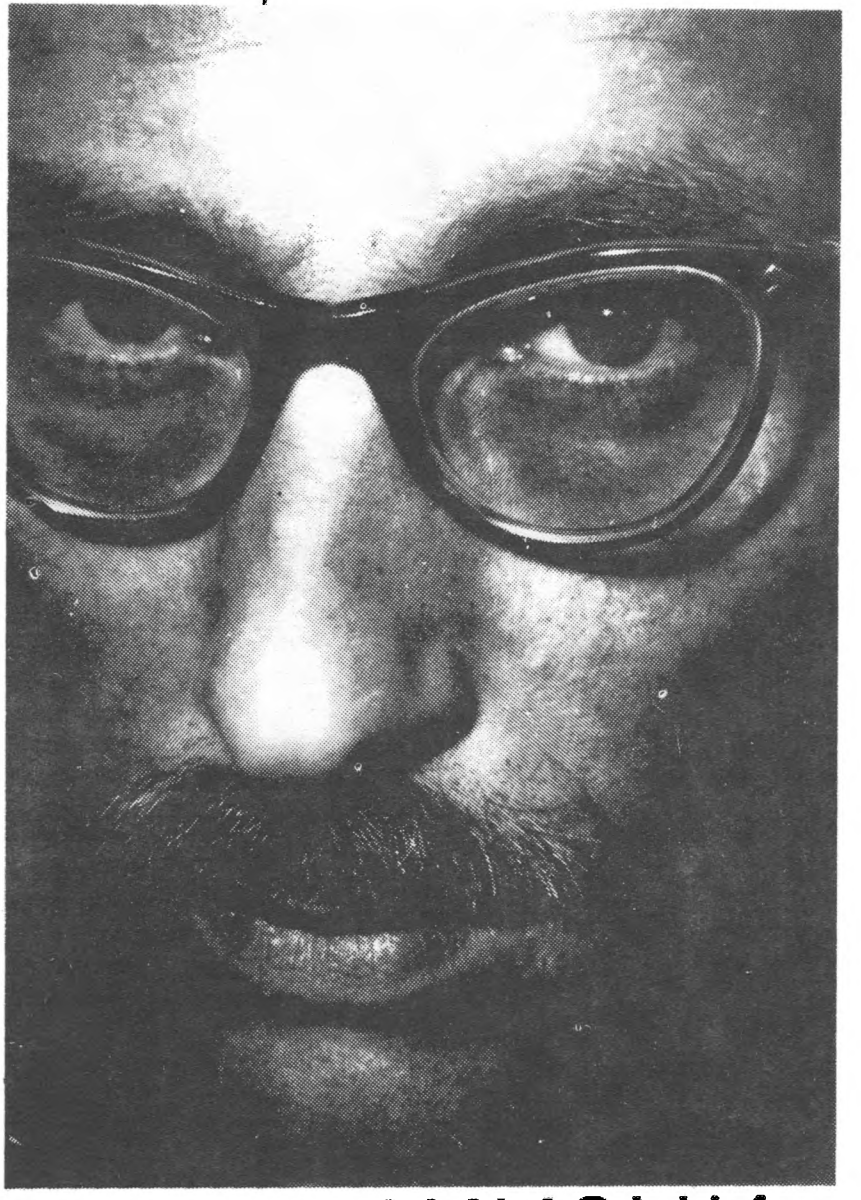
Меняются времена. Несмотря на протесты большинства французов, снесено «Чрево Парижа». Париж «лишился живота». Как считают многие французы, Париж стал мертвым. Но люди по-прежнему едят кровавые бифштексы, обжираются в «Поросячьих ножках». Отменена гильотина, но они не прочь поглазеть как отрубают головы на экранах телевизоров. Только проститутки бесменно стоят на улицах, где когда-то стоял Ле Аль.

Мне посчастливилось застать живым Чрево Парижа . Зная, что оно подлежит уничтожению, я провел там год, выходя в 12 часов ночи и, возвращаясь с него в 8 утра, запечетлевая его в фотографиях и в рисунках. Таких фотографий при подсчете оказалось свыше 5.000. Больше всего меня интересовали тушеноши. Эти люди-гиганты, с легкостью взваливающие на себя четырехсоткилограммовую тушу, эти парижские силачи — воплощение силы и какой-то чудовищной грации. Они единственные, которым доверялось нести тело усопшего короля до усыпальницы Сан-Дени, ныне место, которое хорошо известно любителям поглазеть или воспользоваться услугами проституток. В этой выставке «Чрево Парижа и Фантомы Ле Аля» я постарался создать свой гимн труду тушенош и показать круговорот единства жизни и смерти, смех радости и оскал смерти.

Нью-Йорк, 1987 г.


NEW AMERICAN FEDERAL CREDIT UNION
LOANS
MONEY MARKET CHECKING AND SAVING ACCOUNTS
CERTIFICATES OF DEPOSIT
INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS
★ TOP RATES ON CD'S, CHECKING AND SAVING ACCOUNTS
★ LOW RATES ON MORTGAGES, PERSONAL AND AUTO LOANS
★ PROMPT, COURTEOUS SERVICE
★ HIGH YIELDING INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS
DEPOSITS ARE FEDERALLY INSURED BY THE NCUA UP TO $100,000
DEPOSITS EXCEEDING $100,000 ARE FULLY INSURED BY THE NDGC
NEW AMERICAN FEDERAL CREDIT UNION
80 GRAND STREET, JERSEY CITY, NJ 07302 201/333-0227
New American Federal Credit Union's sponsor organization is the Committee for the Absorption of Soviet Emigrees (C.A.S.E.) — a multi-faceted human rights organization encompassing a number of programs througout the United States and Europe. C.A.S.E. serves the needs of the Russian Jewish emigree.

Оскар Рабин. Три жизни. Воспоминания. Литературная запись Майи Муравник.



оскар рабин
ТРИ ЖИЗНИ

Один из наиболее известных современных русских художников рассказывает в этой книге о своей трудной и сложной жизни, на фоне которой раскрывается и жизнь советской России 30-х — 70-х годов. Конечно, много пишет О.Рабин и о своем творчестве, о борьбе художников-нонконформистов за свободу самовыражения, о столкновениях живописцев с государственной машиной и ее карательными органами — КГБ и милицией, о том, как его изгоняли из СССР. В книге более двадцати иллюстраций, 178 стр. Цена — $12.50. Заказы направлять по адресу: C.A.S.E./Third Wave Publishing, 80 Grand St., Jersey City, NJ 07302